



Валерий Шубинский

Владислав Ходасевич

Чающий
и говорящий

СОРПС

18+

Автор как персонаж

Валерий Шубинский
**Владислав Ходасевич.
Чающий и говорящий**

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Шубинский В. И.

Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий /
В. И. Шубинский — «Издательство АСТ», 2022 — (Автор как
персонаж)

ISBN 978-5-17-146076-1

Владислав Ходасевич – одна из крупнейших фигур русской поэзии XX века. На долю Ходасевича, как и многих его современников, выпали сложные испытания. Принятие революции, последовавший за этим отказ от нее вынудили поэта покинуть Страну Советов и выбрать горький хлеб чужбины. Ходасевич был не только прекрасным поэтом, но и блестящим критиком, которому принадлежит множество тонких наблюдений, предвосхитивших поиски литературоведов, а также остроумным и наблюдательным мемуаристом. Биография, написанная Валерием Шубинским, основана на множестве источников, как опубликованных, так и архивных. Каждое предположение автора подкрепляется выверенными цитатами. Ходасевич в исполнении Шубинского – живой, противоречивый, а главное – абсолютно достоверный. И хотя это серьезный филологический труд, биография поэта читается легко и вызывает неизменный интерес у читателей. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-17-146076-1

© Шубинский В. И., 2022

© Издательство АСТ, 2022

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Предисловие | 7 |
| Глава первая. Истоки | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 12 |
| 3 | 16 |
| Глава вторая. Младенчество | 19 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 27 |
| 4 | 32 |
| 5 | 36 |
| Глава третья. Молодость | 44 |
| 1 | 44 |
| 2 | 49 |
| 3 | 57 |
| 4 | 61 |
| 5 | 68 |
| 6 | 75 |
| Глава четвертая. Бедный Орфей | 79 |
| 1 | 79 |
| 2 | 82 |
| 3 | 88 |
| 5 | 100 |
| 6 | 105 |
| Глава пятая. В счастливом домике | 109 |
| 1 | 109 |
| 2 | 112 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 115 |

**Валерий Шубинский
Владислав Ходасевич.
Чающий и говорящий**

© В. Шубинский, 2011, 2022

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022

© ООО “Издательство Аст”, 2022

Издательство CORPUS ®

Предисловие

Посмертная судьба Владислава Ходасевича парадоксальна. С одной стороны, он давно и прочно признан одним из великих русских поэтов XX века. Горячий интерес вызывают и его проза (мемуарная и биографическая), и историко-литературные труды, и критические статьи. Всего за последние два десятилетия произведения Ходасевича переиздавались более пятидесяти раз общим тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Причем многие из этих изданий отличаются высоким качеством научной подготовки, обстоятельно и дельно прокомментированы. Правда, значительная часть наследия поэта (в основном поздние газетные статьи, а также письма) все еще остается несобранной или даже неопубликованной.

В то же время литература о Ходасевиче довольно ограничена в сравнении с исследованиями жизни и творчества других первостепенных поэтов Серебряного века. Три монографии, посвященные творчеству Ходасевича в целом, написаны по-английски (Дэвид Бетеа), по-немецки (Франк Гёблер) и по-французски (Эммануэль Демадр)¹; на русском языке ни одной работы такого рода не существует. Крупные и заслуженные ученые, такие как Инна Андреева, Николай Богомолов, Сергей Бочаров, Олег Лекманов, Джон Малмстад, Ирина Сураат, Всеволод Зельченко, Роберт Хьюз, Рашит Янгиров, Андрей Зорин осветили в своих научных работах многие частные вопросы биографии и творчества поэта. Но конференций, чтений, семинаров, научных сборников, посвященных Ходасевичу, к сожалению, до сих пор не появилось.

Что же до биографий в собственном смысле слова, то настоящая книга, впервые изданная в 2011 году в издательстве «Вита Нова» и через год – в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия», стала первым опытом в этой области. Вслед за ней появилась книга Ирины Муравьевой «Жизнь Владислава Ходасевича» (СПб.: Крига, 2013).

При работе над биографией Ходасевича невольно вспоминаешь его собственные книги и статьи, посвященные судьбам поэтов – предшественников и современников. С одной стороны, «Державина», который заслуженно считается блестящим образцом героизированного, очищенного от случайных (а иногда и неслучайных) пятен и теней жизнеописания поэта-классика. С другой – столь же замечательные мемуарно-некрологические эссе из «Некрополя», в которых основное внимание привлекают именно пятна и тени.

По какому пути идти биографу самого Ходасевича? Видимо, ни по первому, ни по второму. Замалчивание человеческой и жизненной изнанки, сглаживание углов лишь оскорбляет память художника. Но обращаясь к этой изнанке, изображая живого человека в его слабости и несовершенстве, мы не должны ни на минуту забывать о его силе и величии, которые проявляются прежде всего в творчестве.

Удалось ли автору выполнить эту задачу – судить читателю.

Автор благодарит первых редакторов книги – И. В. Булатовского и П. В. Матвеева, и в особенности Р. Д. Тименчика и В. В. Зельченко, которые прочитали книгу в рукописи (в наши дни это выражение носит, конечно, фигуральный характер) и высказали множество ценных замечаний.

Спасибо О. А. Юрьеву, О. Б. Мартыновой и В. А. Дымшицу за консультации и добрые советы; рецензентам, особенно В. А. Молодякову, за замеченные недочеты и неточности. В настоящем, третьем издании книги их замечания учтены, внесен ряд исправлений и уточнений.

¹ См.: Bethea D. M. *Khodasevich: His Life and Art*. Princeton, 1983; Göbler F. *Vladislav F. Chodasevic: Dualität und Distanz als Grundzüge seiner Lyrik*. München, 1988; Demadre E. *La quête mystique de Vladislav Xodasevic: Essai d'interprétation de l'œuvre poétique du dernier symboliste russe*. Villeneuve, 2000.

В книге используются следующие сокращения:

ГЛМ – Государственный Литературный музей;

ГМП – Государственный музей А. С. Пушкина;

ГРМ – Государственный Русский музей;

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея;

ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН;

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;

МГИА – Московский государственный исторический архив;

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства;

РГБ – Российская государственная библиотека;

СС-2 – Ходасевич В. *Собрание сочинений: В 2 т.* Ann Arbor: Ardis, 1983, 1990;

СС-4 – Ходасевич В. *Собрание сочинений: В 4 т.* М., 1996–1997;

СС-8 – Ходасевич В. *Собрание сочинений: В 8 т.* М., 2009.

РГИА – Российский государственный исторический архив;

РИАМ – Российский исторический архив Москвы.

Глава первая. Истоки

1

Владислав Ходасевич родился в Москве, в сердце “коренной России”, но в семье католического вероисповедания. Дома говорили по-русски (причем это был чистый московский говор) и по-польски. Корни поэта – в сотнях километров к западу от места рождения, в современных Литве и Белоруссии.

О предках по отцу известно немного, да и то лишь со слов самого Ходасевича и его близких.

Анна Ивановна Ходасевич (урожденная Чулкова), вторая жена поэта, вспоминала:

Отец его, Фелициан Иванович, был из литовской обедневшей дворянской семьи <...>. Я видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты – все ярко-синее с золотом².

Анна Ивановна разделила с Ходасевичем десять лет жизни; столько же прожил он с Ниной Берберовой. В некрологе Владиславу Фелициановичу Берберова писала:

Отец его был сыном польского дворянина, одной геральдической ветви с Мицкевичем, бегавшего “до лясу” во время восстания 1833 года. Дворянство у него было отнято, земли и имущество тоже³.

А вот строки самого поэта – из стихотворения “Дактили” (Январь 1927–3 марта 1928):

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкой кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебежал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

Что из этих семейных легенд соответствует действительности, а что нет? Видимо, для ответа на этот вопрос требуются дополнительные изыскания. На сегодня можно сказать точно, что дворянский род Ходасевичей (Масла-Ходасевичей) существовал, причем именно в исторической Литве (включавшей часть современной Белоруссии). В XIX веке Ходасевичи числились в дворянских книгах Минской губернии. Кроме того, существовали виленская и трокская ветви рода. Судя по описанному Анной Ивановной гербу, ее свекор происходил из трокской ветви. Древнейший известный Масла-Ходасевич, Ермак (Ермолай), жил примерно в XVI веке. О более отдаленных предках можно лишь догадываться. Как известно, западные русские княжества в самом начале XIV века вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского, которое позднее вступило в унию с Польским королевством и было им постепенно поглощено. Масла-Ходасевичи, как и Рымвиды-Мицкевичи, происходили, вероятно, из местных бояр или дружинников, сперва смешавшихся с литовскими воинами-язычниками, а

² Ходасевич А. И. *Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче* // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 391.

³ Берберова Н. *Памяти Ходасевича* // Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 73.

потом перешедших в католицизм и постепенно ополячившихся. Но отдаленные потомки их вновь оказались в России, и один из них стал великим русским поэтом: круг замкнулся.

Как же польские шляхтичи стали русскими разночинцами? Польского восстания в 1833 году не было. Дед Владислава Ходасевича мог участвовать в восстании 1831-го или 1863 года (художница Валентина Михайловна Ходасевич, племянница поэта, приводит вторую дату). Фелициан Иванович родился предположительно в 1834 (или 1835-м, или 1836-м) году. Следовательно, либо семья утратила состояние и дворянское достоинство за несколько лет до его рождения, либо почти до тридцатилетнего возраста отец поэта был “шляхтичем” и землевладельцем... либо утрата Ходасевичами дворянства и имений не имела никакого отношения к польским восстаниям, и перед нами всего лишь красивая семейная легенда. В Российском государственном историческом архиве документов о лишении Ходасевичей дворянства найти не удалось⁴.

Еще сложнее дело обстоит с обучением отца поэта в Академии художеств. В архивах академии нет никаких материалов о студенте Фелициане Ходасевиче или Масла-Ходасевиче. Скорее всего, Фелициан Иванович посещал рисовальные классы академии в качестве вольнослушателя. Не исключено, что по возвращении в Литву Фелициан Иванович действительно расписывал церкви. Но и дарование его, и уровень профессионализма были, видимо, невелики.

В “Дактилях” отречение отца от живописи описывается как жертва, принесенная ради семьи:

Мир созерцает художник – и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца – свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

Противопоставление “художника” и “человека” – один из главных мотивов поэзии Ходасевича. Эти два пути были для него на самом глубинном уровне несовместимы, а какой путь выше и достойнее – на этот вопрос он каждый раз отвечал по-разному. Но на самом деле Фелициан Ходасевич, скорее всего, и не смог бы состояться как художник. По словам Валентины Ходасевич, ее дед “талантом не блистал, любил живопись, но плохо в ней разбирался. У него не было чувства цвета и тона”⁵. Далеко не сразу смирился он с этой жизненной неудачей, и обида его выплескивалась на близких. Как вспоминает Валентина Михайловна,

в тяжелые времена дед заметил у старшего сына (моего отца) любовь и способности к рисованию. Он стремился пресечь это, боясь, что сын будет влачить такое же жалкое существование, как и он сам. Мой отец рассказывал, как нещадно он бывал бит, когда дед обнаруживал, что его учебники и тетради испещрены рисунками. После порки ремнем дед гнал сына по лестнице на чердак, бросал ему веревку и говорил: “Иди и там удавись – я не хочу пачкать руки!” Попав на чердак, отец падал на пол, – у него было ощущение, что он летит куда-то, терял сознание. Впоследствии выяснилось, что это были припадки эпилепсии, которыми отец страдал потом всю жизнь⁶.

⁴ Зато есть документ “зеркального” содержания: “хлебопашцы” Фаустин Кондратьевич и Захарий Константинович Ходасевичи представили в Сенат Российской империи документы, доказывающие, что их предки были дворянами Великого княжества Литовского, владели имениями и были (в том же 1863 году!) возведены в дворянское достоинство (РГИА. Ф. 1151. Оп. 6. Ед. хр. 1863). Несомненно, речь идет о другой ветви того же рода.

⁵ Ходасевич В. Ф. *Портреты словами*. М., 1988. С. 23.

⁶ Там же. С. 23.

“Незлобивая душа” отца, о которой пишет Владислав Фелицианович, – видимо, сложилась уже позднее, под старость.

Кстати, в старости неудачливый живописец попытался вернуться к искусству, хотя бы в качестве дилетанта. В прозаическом плане стихотворения, сохранившемся в архиве Ходасевича, есть такие фразы: “Помню – на муштабель уже неуверенный локоть. Бол. палитра. Пучок кистей. <...> Подмосковные цветы. Портреты внуков – для себя”. Валентина Ходасевич вспоминает, что ее дед бесконечно копировал картину Яна Матейко “Коперник” – с копии, которую тот в свою очередь сделал с копии, находящейся в Румянцевском музее (знаменитый польский художник был несколько моложе Фелициана Ходасевича и жил в австрийской Польше, встречаться лично они не могли). Пятерых своих детей он уже одарил “Коперниками” и заготовлял впрок внукам. Писал он иногда и с натуры бездарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами – любил нарциссы и веточки сирени.

Творчески преображая биографию отца, подчеркивая его высокую жертву, Ходасевич упоминает лишь о том, что тот стал “купцом по нужде”. Но превращение посредственного живописца-недоучки (или даже самоучки) в купца 2-й гильдии было, можно сказать, поэтапным. Сперва Фелициан Иванович занялся коммерческой фотографией, что все-таки предусматривало связь с миром искусства (два великих русских поэта XX века были сыновьями профессиональных фотографов; второй – Иосиф Бродский). Сначала Фелициан Ходасевич с семьей жил в Туле, и там в его фотографическом заведении однажды снималась семья Льва Толстого. После переезда в Москву Фелициан Иванович держал фотографическое заведение на Мещанской, в доме Вятского подворья, по крайней мере до 1889 года, но видного положения среди московских фотографов не занял, и его работы не сохранились. Зато магазин фотографических принадлежностей, основанный им в 1873 году на углу Столешникова и Большой Дмитровки, в доме Бучумова, судя по всему, пользовался успехом – во всяком случае, оказался достаточно долговечным. Это был не самый первый в Москве и тем более в России магазин такого рода, как в 1922 году утверждал Владислав Фелицианович в автобиографическом письме Петру Зайцеву, но точно один из первых.

Вот, собственно, почти все, что мы знаем о Фелициане Ивановиче Ходасевиче, человеке “незлобивой души”, шестипалом отце шести детей.

2

О матери Владислава Фелициановича, Софье Яковлевне, вспоминают лишь одно – она была еврейкой по крови, крещеной в католичество и выросшей в католической семье. Немного говорит о ней и сам поэт:

В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть – это ты!

Единственный из предков Ходасевича, чья биография известна в деталях, – дед по матери, Яков Александрович Брафман. Имя этого яркого, хотя и одиозного человека, знакомо всем, кто интересуется историей российского еврейства XIX века. В предисловии к тому Ходасевича в “Библиотеке поэта” Николай Богомолов излагает его биографию следующим образом: “Перейдя из иудаизма в православие, он всячески старался выслужиться перед новыми единовверцами и поставлял им материалы, обличающие зловещую природу иудаизма, не стесняя себя особыми доказательствами их подлинности”⁷. Эта фраза верно передает прижизненную и посмертную репутацию Брафмана, но фактически она неточна. Яков Александрович не был ни тривиальным карьеристом, ни фальсификатором. Дело обстояло сложнее и интереснее.

Яков Брафман появился на свет в 1825 году в городе Клецке, в той же Минской губернии, в чьих дворянских книгах записан был род Ходасевичей. Он родился в бедной семье, к тому же рано потерял родителей.

Одинокому еврейскому мальчику-подростку грозили в те годы не только голод и холод. Дело в том, что в 1828 году на евреев была распространена рекрутская повинность (до этого они, как и некоторые другие религиозные и национальные меньшинства Российской империи, вместо службы платили особый налог). При этом по распоряжению царя у евреев брали, как правило, не взрослых рекрутов, а двенадцати-тринадцатилетних мальчиков, которых направляли в школы военных кантонистов⁸. Лишь после пятилетнего обучения в таких школах они приступали к службе. Официально это мотивировалось необходимостью освоения ими русского языка, но основная цель заключалась в том, чтобы склонить мальчиков к православию.

В случае крепостных крестьян рекрутов обычно назначал барин или его представитель. У евреев решение принимал общинный совет – кагал. При этом имели место злоупотребления: богатые и влиятельные семьи откупали своих сыновей от службы; нужное количество рекрутов набиралось за счет бедняков, причем зачастую вместо тринадцатилетних мальчиков в кантонисты направляли десятилетних, даже семилетних. Существовала особая профессия, называвшаяся колоритным словечком “хаперы”. Эти люди отыскивали сыновей ремесленников и мелких торговцев, которых родители пытались спрятать. Сирота был, конечно же, особенно беззащитен. Якову Брафману приходилось годами скитаться из местечка в местечко, чтобы избежать рекрутчины. Страх, пережитый в детстве, определил его убеждения: он проникся смертельной ненавистью к еврейским общинным институтам и их законам.

В ходе своих скитаний Брафман женился, и приблизительно в 1846 году у него родилась дочь. По-видимому, молодой отец сразу же оставил семью. Неизвестно, узнал ли он, что его дочь взята на воспитание и крещена в католическую веру. О судьбе жены Брафмана источники ничего не сообщают. Но в 1890-е годы в семье Ходасевичей жила “бабушка”, которая,

⁷ Богомолов Н. А. *Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича* // Ходасевич В. Ф. Стихотворения. Л., 1989. С. 6.

⁸ Сегодня в сознании многих эти школы ассоциируются именно с малолетними еврейскими рекрутами; в действительности они, по первоначальному замыслу, предназначались для солдатских детей вообще, и еврейские мальчики в николаевскую эпоху составляли лишь некоторую часть их учеников, приблизительно 10–12 %.

как вспоминал ее внук, говорила на ломаном русском языке: “Закрой фэнстер”. Так говорить могла лишь женщина, чей родной язык – немецкий или идиш, а не польский или литовский. Другими словами, можно предположить, что это была мать Софьи Ходасевич, а не ее мужа. Как же могла молодая женщина бросить дочь, отдать ее на воспитание, позволить обратиться ее в католичество... чтобы спустя долгие десятилетия с ней воссоединиться?⁹ Еще одна загадка в истории семьи.

Спустя несколько лет после рождения дочери сам Брафман принял в Киеве крещение по лютеранскому обряду. Поселившись в Минске, он занялся (примечательное совпадение!) фотографией, которая в 1850-е годы была новым и экзотическим ремеслом. В 1858 году в его жизни произошел перелом: при проезде императора Александра II через Минск Брафман подал ему “записку о евреях”, которая так заинтересовала государя, что ее автор был вызван в Санкт-Петербург и делал доклад Синоду. В Минск он вернулся уже православным и был приглашен преподавать еврейский язык в местной семинарии. В 1866 году появилась в печати его первая статья – “Взгляды еврея, принявшего православие, на реформу еврейского народа в России”. Она вызвала живой интерес и помогла скромному семинарскому преподавателю обрести влиятельных покровителей, среди которых были генерал-губернатор Северо-Западного края Константин Петрович фон Кауфман и товарищ министра просвещения, директор Публичной библиотеки Иван Давыдович Делянов.

Брафман получил место главного цензора еврейских книг в Вильно и государственное финансирование для своих “изысканий”. Отныне его сочинения появлялись одно за другим в периодике и отдельными изданиями. Наибольший успех имела “Книга Кагала” (1869). Понять этот успех, на первый взгляд, трудно: книга представляет собой сборник постановлений минского кагала и общинного суда (бет-дина), относящихся к концу XVIII века, которые случайно попали в руки Брафмана и были переведены им с помощью ассистентов на русский язык. Назвать это занимательным чтением нельзя никак. Соль была, однако, в той интерпретации, которую давал Брафман канцелярским бумагам, и в том значении, которое он им приписывал:

Эти документы как нельзя лучше показывают, каким путем и какими средствами евреи, при самых ограниченных правах, вытесняли чужой элемент из местечек своей оседлости, завладевали капиталами и недвижимым имуществом этих местностей и освобождались от конкурентов другой национальности в делах торговли и ремесленничества. <...> И наконец, что важнее всего, в этих документах лежит ясный ответ на вопрос: почему все попытки нашего правительства изменить жизнь евреев не увенчались успехом в продолжение текущего столетия¹⁰.

Что же увидел Яков Александрович в бумагах семидесятилетней давности? Во-первых, доказательства тому, что евреи составляют “государство в государстве” и не считают нужным подчиняться общим законам. Во-вторых, примеры того, как кагал манипулирует христианами, эксплуатируя их и с помощью различных махинаций присваивая их имущество. Сам Брафман в это, видимо, искренне верил. Верили и его читатели. Неслучайно Императорское Географическое общество, к примеру, объявило, что “Книга Кагала” “прямо отвечает на многие задачи, предложенные к исследованию этнографической экспедицией в Западный край”. Людям вообще нравится, когда документы подтверждают их картину мира. А подлинность документов, представленных Брафманом, никто из его многочисленных евреев-оппонентов опровергнуть не мог. Что же до ошибок в их понимании, вызванных плохим знанием права – и традиционного еврейского, и магдебургского, на основании которого действовали в Восточ-

⁹ Впрочем, вероятно, и “бабушка” выкрестилась, иначе ей не позволили бы жить в Москве.

¹⁰ *Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского народа*: В 2 т. / Собрал и перевел Яков Брафман. Вильно, 1869; 2-е изд.: СПб., 1875. Т. 1. С. XV.

ной Европе самоуправляющиеся общины, – то это никого особенно не интересовало. Да и не было нейтральных специалистов, которые могли бы уличить бывшего фотографа в невежестве и передержках и которым поверили бы (евреям – не верили).

Но для самого Брафмана был гораздо важнее другой аспект проблемы, до которого его православным читателям не было никакого дела. Прежде всего он был убежден, что кагал¹¹, в котором заправляют богатые и родовитые евреи, эксплуатирует не только “гоев”, но и трудовые еврейские массы, обратив их “в доходную для себя статью, в слепое орудие для своих целей”¹². В голове Якова Александровича сложилась стройная, хотя и совершенно фантастическая картина того, как и почему это случилось. Все началось, ни много ни мало, в I веке нашей эры, во время Иудейской войны, когда жестокий завоеватель римский император Веспасиан вручил “управление внутренней жизнью оставшегося Израиля”¹³ членам “ученого братства” во главе с трусом и коллаборационистом Иохананом Бен Закаем¹⁴.

Во всех еврейских общинных институциях, во всех “братствах” – ремесленных, погребальных и т. д. – Брафман видел средство для закабаления “плебеев” “патрициями”. Он подробно расписывал механизмы этого закабаления, показывал, как руководители общин мелочно регламентируют жизнь бедняков, обкладывают их различными поборами. С особым личным чувством (которое можно понять) Брафман описывает махинации с рекрутскими наборами. В этой, да и в других претензиях к еврейскому общинному укладу он был отнюдь не одинок. Еврейские писатели, связанные с Гаскалой (национальный вариант Просвещения), описывали те же явления ничуть не менее язвительно (можно вспомнить хотя бы пьесу классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима “Такса” 1869 года, красочно живописующую злоупотребления при так называемом “коробочном сборе”). Однако Брафман не видел в еврейских просветителях и прогрессистах своих союзников: именно они-то и были для него злейшими врагами. Он не верил в то, что евреи могут стать “русскими (немцами, французами) Моисеева закона”, о чем всерьез мечтали многие адепты Гаскалы; в то же время он резко отрицательно относился к “палестинофильству” (слова “сионизм” тогда еще не существовало), считал его вредным и опасным для России, хотя многие царские чиновники придерживались иного взгляда на переселение евреев в Палестину. Европеизированные казенные еврейские училища он считал еще более вредными, чем старинные ешивы (духовные школы), и предлагал их закрыть.

Правительственная политика, по мысли Брафмана, должна была заключаться в том, чтобы “уничтожить все то, что создает из евреев отдельную общину, чтобы подчинить их в этом отношении общим государственным законам”¹⁵. Надо, чтобы единственной возможностью выхода из “гетто”, из ненавистного и Брафману, и его оппонентам местечкового мира, было крещение. Яков Александрович исступленно верил: только отказ и от национальности, и от религии отцов может избавить угнетенных “плебеев” от власти “патрициев”. “Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства”, – Брафман охотно подписался бы под этими словами Карла Маркса, хотя как монархист и царский чиновник едва ли симпатизировал радикальному немецкому философу.

Евреи Российской империи Брафмана ненавидели. И потому, что его труды повлияли на политику царских властей (и на последующую публицистику по “еврейскому вопросу” на рус-

¹¹ Строго говоря, учреждения с таким названием не существовало с 1844 года, так что Брафман употреблял это слово расширительно, имея в виду вообще всю систему еврейского общинного самоуправления.

¹² Брафман Я. *Еврейские братства, местные и всемирные*. Вильно, 1868. С. 19.

¹³ Брафман Я. *Еврейские братства, местные и всемирные*. С. 13.

¹⁴ В реальности Бен Закай – выдающийся законоучитель, способствовавший сохранению еврейской религиозной традиции после разрушения Второго Храма. С этой целью он сотрудничал с римлянами, и многие современники в самом деле видели в нем предателя.

¹⁵ *Книга Кагала*. Т. 1. С. 355.

ском языке – вплоть до сочинений Вадима Кожина и Игоря Шафаревича), и из-за суровости, которую проявлял он в качестве цензора. Между тем историки отмечают, что у Брафмана был своего рода “двойник” – писатель Григорий Богров, чьи “Записки еврея”, напечатанные в 1871–1873 годах в “Отечественных записках”, как и последующие повести “Пойманник” и “Маниак”, вызвали горячий интерес и в еврейской среде, и за ее пределами. Пафос этих книг, пронизанных неприязнью к еврейской религиозной и финансовой “олигархии”, во многом напоминает пафос книг Брафмана. Но Богров (формально до последних лет жизни сохранявший верность иудаизму) апеллировал не к ненавистным царским властям: его записки появились в журнале, издававшемся культовыми прогрессивными писателями – Николаем Некрасовым и Михаилом Салтыковым-Щедриным. Едва ли, впрочем, они относились к евреям лучше, чем Кауфман и Делянов (вспомним хотя бы карикатурных еврейских банкиров из некрасовских “Современников”), зато сама еврейская молодежь находилась под обаянием их освободительных идей.

Почему об этом стоит вспомнить сейчас? Дело в том, что у Григория Исааковича Богрова был внук: Богров-внук, странная искаженная тень аксаковского Багрова-внука. Тот самый Дмитрий Григорьевич Богров, помощник присяжного поверенного из Киева, чей выстрел в 1911 году сыграл роковую роль в российской истории. И у Якова Александровича Брафмана был внук – поэт Ходасевич.

3

В какой же семье выросла Софья Яковлевна Брафман? Вацлав Ледницкий, ссылаясь на устное свидетельство самого Ходасевича, называет князей Радзивиллов, знаменитых литовских аристократов, породнившихся и с польскими королями¹⁶. Но Ходасевич упоминает о “бедной, бедной семье”, в которой встретил “счастье свое” его отец. Семья эта жила “там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит”, то есть на территории современной Литвы. Анна Ходасевич утверждала, что ее свекровь воспитывалась “в католическом пансионе”. Так или иначе, родным языком Софьи Яковлевны был польский, родной культурой – польская.

Этой культурой пыталась она заразить и своего младшего сына в самые первые годы его жизни:

По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел золотой образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал “Отче Наш”, потом “Богородице”, потом “Верую”. Потом мама рассказывала мне о Польше и иногда читала стихи. То было начало “Пана Тадеуша”. Что это было за сочинение, толком узнал я гораздо позже, и только тогда понял, что чтение не заходило далее семьдесят второго стиха первой книги. Всякий раз после того, как герой (которого имя еще не было названо) только что вылез из повозки, побежал по дому, увидел знакомую мебель и часы с курантами и с детской радостью

Вновь потянул за шнур, чтобы знакомый вал
Мазурку старую Домбровского сыграл...

мать начинала плакать и отпускала меня¹⁷.

“Пан Тадеуш” – поэма Адама Мицкевича, написанная в 1834 году в эмиграции и посвященная воспоминаниям о старом шляхетском поместном быте. Ничто, вероятно, не связывало Софью Ходасевич с этим миром, кроме родного польского языка, чудесным образом преображенного гением поэта. Мы не знаем, от кого унаследовал Владислав Ходасевич поэтический дар, но поэтический слух, способность воспринимать стихи, любовь к ним – это, видимо, от матери. Любовь к покинутой родине заключалась для нее в первую очередь в любви к родной поэзии.

Сам Ходасевич вспоминал свои детские беседы с матерью не только в прозаическом эссе, но и в лирическом наброске, относящемся к 1917 году и оставшемся в рукописи:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

Но памятни мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий

¹⁶ Ледницкий В. *Литературные заметки и воспоминания* // *Опыты*. 1953. № 2. С. 166.

¹⁷ Ходасевич В. *К столетию “Пана Тадеуша”* // *СС-4*. Т. 2. С. 309.

Мечтать, молиться – и молчать.

Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
“Дитя! Всех рек синее – Висла,
Всех стран прекраснее – Литва”.

Но все же – Польша или Литва? Вилия или Висла? В старинной русской поэтической традиции эти две страны сливаются, но на деле это не так. На Литве (старинная форма, подобная старинному же “на Руси”) поляки были иноязычной элитой или колонистами. Для родителей Ходасевича (как и для Мицкевича) Литва была родиной физической, земной, а Польша – духовной, мистической¹⁸. Так воспринял ее и маленький Владислав:

Я никогда не видел ни Мицкевича, ни Польши. Их так же нельзя видеть, как Бога, но они там же, где Бог: за низкой решеткой, обитой красным бархатом, в громе органа, в кадильном дыму и в золотом, страшном сиянии косых лучей солнца, откуда-то сбоку падающих в алтарь. <...>

Бог – Польша – Мицкевич: невидимое и непонятное, но родное¹⁹.

Верность этому волнующему, но абстрактному образу не могла быть прочной; “окончательное обрусение” наступило уже в детские годы. Только что процитированное стихотворение было полностью переписано в 1923 году. Вторая строфа этого позднего, гораздо более известного варианта звучит так:

России – пасынок, а Польше –
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше –
И в них вся родина моя.

Восемь томиков – это собрание сочинений Пушкина. Как и для матери, для сына истинной родиной были стихи. Но не “Пан Тадеуш”, а “Евгений Онегин”, “Цыгане”, “Медный всадник”. Конечно, Мицкевич, как и другие польские классики (прежде всего Словацкий и Красиньский), составлял важную часть внутреннего мира Ходасевича. Важную, но все же не первостепенную.

Вот что можно сказать о польских корнях и польском самоощущении Ходасевича. Что до его еврейских корней и еврейского самоощущения, тут и вовсе всё странно. Софья Яковлевна едва ли всерьез ощущала себя еврейкой. О сыне ее нечего и говорить. И тем не менее в известный период жизни он не раз декларировал свое еврейское происхождение в общении не только с евреями, но и с людьми, пользовавшимися репутацией антисемитов. Думается, это был не просто эпатаж и не просто благородное стремление выразить солидарность со страдающим меньшинством, встав в его ряды.

Такие высказывания Ходасевича особенно бросаются в глаза по контрасту с поведением другого великого поэта этого поколения, Бориса Пастернака. Для Пастернака еврейское происхождение было своего рода проклятием, тяготеющим над ним и не дающим ему как следует “развернуться” в качестве русского писателя. Мысли о желательном для еврейского народа исходе, высказанные в “Докторе Живаго”, местами мало отличаются от рассуждений Якова Брафмана.

¹⁸ Интересно, что в упомянутом письме Зайцеву Ходасевич называет своего отца не поляком, а литовцем.

¹⁹ Ходасевич В. *К столетию “Пана Тадеуша”*. С. 309–310.

Подобные настроения возникали не на голом месте, и уж конечно не были просто мало-душной реакцией на государственный антисемитизм. Перед лицом последнего евреи начиная с 1890-х годов как раз могли рассчитывать на сочувствие (пусть не всегда искреннее и деятельное) всей прогрессивной общественности. Гораздо сложнее обстояло дело с участием евреев в русской литературной жизни. Довольно много сторонников имела точка зрения, изложенная в статье Андрея Белого “Штемпелеванная культура” (1908): евреи (“не дурной народ, но иной народ”) имеют право на гражданское равенство и на развитие собственной культуры, отражающей их “расовый тип”, однако их участие в “арийской” культурной жизни является в большинстве случаев вредным и разлагающим. Ходасевич был близок к Белому именно в те годы, когда писалась “Штемпелеванная культура”. И все же он помнил и напоминал другим о своих собственных “неарийских” корнях, которые для него самого едва ли могли иметь существенное значение и о которых без его признаний никто из окружающих не узнал бы.

Почему? Возможно, дело, помимо прочего, в той болезненности, с которой Ходасевич воспринимал свою “измену” Польше и польскому языку. Мысль о том, что он все равно “не совсем настоящий” поляк, что в его жилах течет кровь двух страдающих, уязвленных и зачистую плохо ладивших народов, что он изначально, от рождения, “всем чужой”, могла парадоксальным образом смягчить эту травму.

Позднее судьба распорядилась так, что Владиславу Фелициановичу, внуку Якова Брафмана, знавшему об исторической роли своего деда и о том, что “таким еврейским родством гордиться не приходится”²⁰, выпало самым активным образом участвовать в деле перевода еврейской поэзии на русский язык, и эта работа оказала известное влияние на его собственное творчество. Видимо, такова была внутренняя логика жизни поэта: в ней не было ничего случайного.

Неслучайным было и то наследие, которое поэт получил. Здесь были разные составляющие – шляхетский гонор и мелкобуржуазное смирение, пышный католицизм и строгий иудаизм, условность академической живописи и точность фотографии, наконец, верность (говоря о матери, Владислав Фелицианович употребляет именно это слово) и предательство (которым объективно стала жизнь Якова Брафмана, местечкового бунтаря и чиновника-мракобеса). Все это так или иначе отразится в его биографии и его стихах.

²⁰ Яффе Л. Владислав Ходасевич (из моих воспоминаний) // Ходасевич В. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 17.

Глава вторая. Младенчество

1

Человек редко правильно понимает свою эпоху и свое поколение: завершители кажутся себе самым зачинателями, дни расцвета видятся временем провинциальным и “второсортным” и наоборот. Вот и Ходасевичу казалось, что он опоздал родиться и не успел стать частью великой символистской плеяды. В действительности он принадлежал к плеяде куда более яркой, да и сам был гораздо значительнее любого из русских поэтов-символистов, кроме Александра Блока и Иннокентия Анненского. Он родился как раз вовремя: в один год с Николаем Гумилевым, Борисом Эйхенбаумом, Михаилом Лозинским. Николай Клюев и Велимир Хлебников были немного старше его, “великая четверка” – на несколько лет моложе. Расцвет его творчества совпал с расцветом русской поэзии, с необыкновенным интересом к ней, которому не могли помешать даже грандиозные социальные потрясения эпохи.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 мая 1886 года²¹, в полдень. Он увидел свет в Москве, в самом ее центре, в день основания Санкт-Петербурга. Слово само сочетание дня и места его рождения намекает на то примирение московской и петербургской линий русской поэзии (и самого духа двух столиц, их энергетики), которое, пожалуй, произошло в его стихах.

Ходасевичи жили в Камергерском переулке, идущем от Тверской к Большой Дмитровке, рядом с Манежной площадью. Переулок был (и поныне остается) полон исторических воспоминаний, хотя изменчивая московская городская среда не всегда бережна к теням прошлого. Название “Камергерский” напоминает о домовладениях двух камергеров – В. И. Стрешнева и С. М. Голицына, находившихся здесь в XVIII веке. В ту же – допожарную – эпоху существовал и Георгиевский монастырь, давший название соседнему переулку. Дом, в котором жили Ходасевичи, принадлежал в то время монастырю, а после его ликвидации – Синодальному ведомству. “Дом был кирпичный, нештукатуренный, двухэтажный – верхние этажи надстроены позже – и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем – увеселительное заведение Шарля Омона и, наконец, – Художественный театр, существующий в этом здании и по сей день”²², – вспоминал впоследствии поэт. Описанию более всего соответствует дом номер 4, расположенный в точности перед зданием МХТ и знаменитый, между прочим, тем, что в нем некогда, задолго до рождения Ходасевича, располагалась гостиница Шевалье, в которой останавливался в молодые годы Лев Толстой. Художественный театр открылся, когда Ходасевичу исполнилось двенадцать лет. Еще позже – в 1910-е годы – в Камергерском переулке располагалась кафе “Десятая муза”, которое часто посещали ненавистные Владиславу Фелициановичу футуристы; а еще позже, в середине XX века, в доме номер 6 жил композитор Сергей Прокофьев. Другими словами, едва ли не все эпохи отечественной истории и культуры сохранили в этом переулке память о себе. Впрочем, уже через несколько месяцев после рождения сына Владислава семья Ходасевичей покинула Камергерский, хотя и осталась в том же районе старой Москвы, с которым ее связывали торговые дела Фелициана Ивановича.

В семье было уже четыре сына и две дочери. Старшим был Михаил. Поженились “Фелицианы” (как все позднее за глаза называли чету старших Ходасевичей) в 1862 году²³ и, веро-

²¹ Все даты до 14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю.

²² Ходасевич В. *Младенчество* // СС-4. Т. 4. С. 191.

²³ См.: *Похороны С. Я. Ходасевич* // Московская газета. 1911. 23 сентября.

ятно, почти сразу же покинули Литву, переселившись во “внутреннюю” Россию. Михаил Фелицианович родился в 1865 году в Туле и, по причине отсутствия там костела и католического священника, был – единственный в семье – крещен в православие. Затем по старшинству шла, видимо, Мария; после нее два сына – Виктор, 1871 года рождения, и Константин-Станислав (Стася, как звали его в семье, 1872 года рождения); затем Евгения, родившаяся в 1876 году. К тридцати годам Софья Яковлевна была матерью пятерых детей – больше рожать, возможно, и не собиралась. Но десять лет спустя у очень немолодых родителей появился еще один сын.

При крещении мальчик получил, согласно метрическому свидетельству, двойное имя – Владислав-Фелициан. Но второе имя употреблялось лишь в деловых бумагах, и то не всегда. Интересно, что в 1927 году Ходасевич подписал шуточное стихотворение, написанное силлабическим стихом в манере русских виршеписцев XVII – начала XVIII века, которые находились под влиянием польской культуры, а зачастую были и уроженцами Речи Посполитой, именем Фелициан Масла; в то же время он как журналист и переводчик начиная с 1908 года и почти до конца жизни иногда пользовался псевдонимом Ф. Маслов. Второе имя, совпадающее с именем отца, и вторая, шляхетская, фамилия стали объектом тонкой игры, можно сказать – прозвищем тайного *alter ego*.

Поздний ребенок родился на две недели прежде срока и оказался слабым и болезненным. Уже в первые дни жизни у младенца вскочил огромный типун на языке; он отказывался принимать пищу и умер бы, если бы доктор Смит, натурализованный англичанин, не догадался прижечь волдырь ляписом. Кормилицы одна за другой отказывались от ребенка, “говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно «не жилец». Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: «Бог милостив – я его выхожу»”²⁴. Это была крестьянка, уроженка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова Елена Александровна Кузина (по мужу Степанова).

Мальчик выжил, но часто и подолгу болел; над ним тряслись, как часто трясутся над поздними и болезненными детьми. Родительские страхи доходили до абсурда и не всегда шли на пользу:

Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень – средством расстраивать желудок, а фрукты – баловством. В конце концов у меня выработался некий вкусовой инфантилизм, то есть я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда²⁵.

В зрелые годы Ходасевич питался почти исключительно мясом и макаронами. Этот не слишком здоровый рацион, возможно, способствовал склонности к нарушениям обмена веществ и порожденным ими недугам, мучившим поэта всю жизнь, – фурункулезам, экземе, а также расстройствам желудочно-кишечного тракта. Подвержен он был и простудным легочным заболеваниям (уже в детстве и отрочестве его преследовал призрак роковой в то время чахотки), и болезням позвоночника.

Елена Кузина на долгие годы осталась нянькой Владислава. Ее собственный ребенок вскоре умер в воспитательном доме. А воспитанник подарил ей, как и своим родителям, бессмертие. Стихотворение, посвященное кормилице, набросанное в 1917-м и завершенное в 1922 году, – один из прославленных шедевров Ходасевича:

Не матерью, но тульскою крестьянкой

²⁴ Ходасевич В. *Младенчество*. С. 191.

²⁵ Там же. С. 190.

Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна
И встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она...

Само наличие русской няньки было для Ходасевича символичным. “Измена” Польше была травмой, которую надо было как-то пережить, но и “мучительное право” быть русским поэтом (или просто – быть русским) не подразумевалось само собой. Молодой Ходасевич приобретал это право прежде всего в собственных глазах через самоуподобление Пушкину (ведь и молодой Мандельштам щеголял “пушкинскими” бакенбардами). Как и у Пушкина (выходца из космополитической светской среды, да еще с экзотической африканской кровью), у полу-поляка-полуеврея Ходасевича была любящая няня из русских крестьян. Только она “не знала сказок и не пела”, в отличие от Арины Родионовны Яковлевой²⁶.

Связующее звено с “громкой державой” и ее “волшебным языком” – не фольклор, не народная культура. Эта связь физиологична, материальна – связь через грудное молоко, заменяющая отсутствующее кровное родство.

Падение из окна подробно описано в “Младенчестве”:

Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною – покатая железная крыша – навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедem на дачу, а вот какие-то счастливицы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю – и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мною с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом – нянин крик и занесенная надо

²⁶ Ср. в “Других берегах” Владимира Набокова, дружившего с Ходасевичем и восторженно относившегося к его поэзии: “Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олинке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас)” (Набоков В. *Собрание сочинений*: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 153).

мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкою под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится и прикладывается ко всем иконам и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол²⁷.

В это время, начиная уже с осени 1886 года, Ходасевичи жили на Большой Дмитровке, 14, в доме Нейгардта, всего в двух кварталах от прежнего адреса. Сюда же переехал и магазин Фелициана Ивановича. Название “Большая Дмитровка” – одно из древнейших в Москве: здесь в XIV веке находилась ремесленная слобода, населенная выходцами из города Дмитров. За два года до смерти Ходасевича (узнал ли он об этом?) Большая Дмитровка стала более чем на полвека улицей Пушкина. Пушкин, впрочем, никогда здесь не жил. Единственное важное происшествие его жизни, связанное с этой улицей, было не слишком приятным: в 1830 году в особняке на углу Кузнецкого моста и Большой Дмитровки он проиграл 24 800 рублей шулеру Огонь-Догановскому.

Несмотря на аристократическое прошлое этого уголка Москвы (о котором поныне напоминает здание Дворянского собрания, построенное в конце XVIII века Матвеем Казаковым), среда, окружавшая семью Ходасевичей, была даже не разночинной, а попросту мещанской. Поэт запомнил своих соседей: акушерку Баркову, портного Раича, сварливую торговку яблоками Аксиною. Московская культура многоквартирного доходного дома была моложе петербургской и всегда отличалась от нее. Жизнь такого дома в большей степени шла во дворах, которые были просторнее и зеленее петербургских “колодцев”. Вкус Ходасевича к чужой жизни, тоскливой и чарующей, отвратительной и загадочной (вспомним знаменитые “Окна во двор”) – все это, возможно, воспитано московским детством.

Даже такая незначительная, казалось бы, черта его личности, как любовь к кошкам, связана с московским происхождением. Если разделить всех людей на “собачников” и “кошатников”, Ходасевич явно принадлежал ко второй категории. Первым словом младенца было “Кыс!”, одним из последних стихотворений поэта – “На смерть кота Мурра”. Кошкам и их превосходству над собаками посвящен красочный пассаж в “Младенчестве”; “идиотское количество серошетиных собак” с неприязнью и брезгливостью описано в одном из стихотворений “Европейской ночи”. Конечно, воинственная и служилая собака – скорее петербургское существо, а надменный, независимый, источающий уют кот – примета московского купеческого и мещанского (“щей горшок да сам большой”) быта.

Связь с “миром державным” в Москве ощутить было труднее, чем в Петербурге. Тем не менее Ходасевичу в младенчестве довелось лично встретиться с царем. Вот как сам он описывает эту встречу:

Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городской нас остановил, и в ту же минуту по коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парю вороних лошадей, шедших тяжелым, медленным “тропцем”. В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: “Государь!” Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо,

²⁷ Ходасевич В. *Младенчество*. С. 203–204.

показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых²⁸.

Ходасевич как будто намеренно выстраивает биографические параллели с Пушкиным – по контрасту: его нянька успела снять с питомца шапочку, и правнук Павла I (заметим, кстати, что Ходасевич относился к “романтическому императору” с живым интересом и задумал написать его биографию) не имел повода пожурить ее²⁹.

Позднее, в 1895 году, в ярославском Толгском монастыре³⁰ девятилетнему Владиславу довелось встретиться и с одним из духовных вождей эпохи – протоиереем Иоанном Кронштадтским, столпом и защитником традиционного православия, пользовавшимся репутацией чудотворца. Родители, несмотря на свою строгую католическую набожность, позволили Владиславу вместе с другими детьми получить благословение почитаемого православного священника.

Время было – по определению Блока – “глухим”: укрепление экономики, мир в Европе, внутрисполитическое затягивание гаек, расцвет прозы и упадок лирики, живопись передвижников и псевдорусский “петушинный стиль” в архитектуре. Большой мир был, однако, открыт, известия из него доходили и до семейного круга Ходасевичей. В 1889 году Фелициан Иванович ездил (вероятно, в качестве фотографа) на Всемирную выставку в Париж, а вернувшись, рассказывал о новопостроенном чуде инженерной мысли – Эйфелевой башне. Пока Мопассан и Верлен возмущались безвкусицей этого сооружения, “испортившего” Париж, скромный московский фотограф им восхищался. И как оказалось, он был прав.

²⁸ Ходасевич В. *Младенчество*. С. 201.

²⁹ Ср.: “Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...” (Пушкин А. С. *Письмо Н. Н. Пушкиной*, 20 и 22 апреля 1834 г. // *Собрание сочинений*: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 370).

³⁰ Ходасевичи, отправившиеся в гости к старшей дочери Марии, которая жила под Ярославлем, остановились в монастырской гостинице.

2

В 1920-е годы Ходасевич составил для Нины Берберовой конспективную хронику своего детства:

1886 – родился.

1887, 1888, 1889 – Городовой. Овельт. Париж, грамота. Маня.

1890, 1891 – Конек-горбунок (Ершова). Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские и т. д.

1892 – Покойница в Богородском.

1893 – Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима – стихи, котильон. Корь.

1894 – Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.

1895 – Толга. Школа. Оспа.

1896 – Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков³¹.

Некоторые из этих записей поддаются расшифровке. Речь идет, например, об уже упоминавшейся отцовской поездке в Париж. Овельт – это ксендз, крестивший Владислава, которому младенец во время таинства “явственно показал нос”. Городовой – в Петровском-Разумовском, на даче. Общение с городовым, который дал мальчику подержаться за пальчик и поцеловал ему ручку, – первое воспоминание поэта (“мне совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями...”, – с иронией оговаривается автор “Младенчества”: ничего отвратительней, чем городовой, для свободомыслящего русского интеллигента не существовало). “Маня, грамота” – и об этом Ходасевич вспоминает: грамоте его научили не родители, а почему-то старшая, уже замужняя сестра Мария Фелициановна. Оспа, которую, наряду с тривиальными корью и бронхитом, перенес хрупкий мальчик, – не ветряная, а черная, что странно для конца XIX века, не оставила следов на лице.

Понятно и упоминание балета. О своей “балетомании” Ходасевич подробно пишет в “Младенчестве”. Уже первое посещение балетного спектакля (“Кипрская статуя”) произвело на него неизгладимое впечатление:

...справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие – черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, все вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит оттого, что много людей одновременно бьют в ладоши³².

Сравнение балетного представления с мессой, а Большого театра с католической церковью неслучайно. Для Ходасевича и то и другое было воротами в иной мир – красивый, пышный, торжественный – из прозаичного московского двора. Но вот еще один парадокс: в зрелые годы в своей поэзии он будет принципиально чуждаться всякой пышности, красоты, всяких

³¹ Берберова Н. *Курсив мой*. М., 1999. С. 180.

³² Ходасевич В. *Младенчество*. С. 196.

романтических эффектов, а путь в иные миры искать как раз в самом тусклом и прозаичном (вспомним такие стихотворения, как “Брента” или “Весенний лепет не разнежит...”).

Российский балет переживал в то время не лучшие свои дни. Даже в Петербурге, где в предшествующие десятилетия сложилась блестящая, получившая европейское признание школа во главе с великим Мариусом Петипа, с начала 1880-х ощущался некоторый застой. А уж московская сцена находилась во власти в лучшем случае квалифицированных эпигонов, таких как Хосе Мендес, возглавивший труппу Большого театра в 1889 году. Основное место в репертуаре занимали эффектные феерии. Московская постановка “Лебединого озера” в 1877 году провалилась: настолько Чайковский оказался чужд стилистике тогдашнего Большого. Но если тот балет, который видел ребенком Ходасевич, и не был искусством высочайшей пробы, если в нем и был элемент китча, тем привлекательнее он оказался для детского воображения. Неслучайно поэт с нежностью вспоминал о наивно-безвкусных декорациях Вальца, которого вскоре вытеснили “настоящие художники”, такие как Константин Коровин.

Разумеется, были среди тогдашних танцовщиков Большого театра и выдающиеся мастера, к примеру, прославленная пара Лидия Гейтен – Василий Гельцер. Но в 1890-е годы их карьера уже завершалась: Ходасевич смутно помнил “очень пожилую”, уже сходящую со сцены Гейтен. Ей, впрочем, не было и сорока; покинув Большой театр, она основала (в 1895) собственный “Летний сад и театр”, где продолжала выступать. Ее партнер, который был старше ее, танцевал до шестидесяти лет одновременно со своей дочерью, знаменитой Екатериной Гельцер. Ходасевич упоминает “восходящую звезду” Гельцер наряду с другими молодыми балеринами. Ему помнились “и милая Рославлева с мягкой задушевностью ее танца, и хрупкая Джури с ее игольчатыми движениями, и вся быстрота и огонь – Федорова 2-я, и чистый профиль Домашевой 2-й”³³.

Дома мальчик “вертелся на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты”³⁴. Естественно, родители стали давать ему уроки танца. Учителем был артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Владислав проявил немалые способности, родители даже помышляли о том, чтобы отдать его в театральное училище, но с мечтой о балетной карьере пришлось распрощаться из-за слабого здоровья. В своих ностальгических воспоминаниях Ходасевич упоминает только женщин-балерин и признается: “В балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика”³⁵. В раннем детстве мальчик проявлял женственные черты характера: предпочитал играть с девочками, был очень внимателен к одежде и капризен в ее выборе, обожал модные магазины. Видимо, женственное начало с годами ушло вглубь, проявляясь лишь в общении с самыми близкими людьми. В детстве же оно стимулировалось внешними обстоятельствами: воспитанием мальчика занимались почти исключительно женщины – мать, бабушка, нянька и сестра Женя, к которой мальчик был особенно привязан (ее именем открывается шуточный “донжуанский список”, составленный так же, как и биографическая хроника, в 1920-е годы для Нины Берберовой). “Школой” Ходасевич в “Младенчестве” и “Краткой хронике” именуется, видимо, то же, что в очерке “К столетию «Пана Тадеуша»” называется “детским садом”: частное детское училище Л. Н. Валицкой на Маросейке (смешанное, для мальчиков и девочек), которое Владислав посещал два года перед поступлением в гимназию:

В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности.

³³ Там же. С. 197.

³⁴ Там же. С. 198.

³⁵ Там же. С. 199.

С необычайной тщательностью выделял я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспредметны. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле – прелестной девочкой. Не думаю, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась³⁶.

Танцевальная тема впоследствии получила неожиданное продолжение: от странного на первый взгляд определения Ходасевича как “учителя танцев в поэзии” (“но танцу учит священному”), данного Гумилевым в 1910-е годы, до знаменитой строчки про дачные балы в Останкине (“Перед зеркалом”) – чтобы завершиться образом чарующе-вульгарного танца “двусмысленных дев” в “Звездах”, как будто пародирующего, выворачивающего наизнанку тоже безвкусные, но невинные балетные впечатления детства и “сладостные муки” детской влюбленности. Впрочем, не исключено, что более серьезная эротическая инициация поэта в отроческие годы тоже была связана с танцевальными вечерами – об этом чуть ниже.

³⁶ Ходасевич В. *Младенчество*. С. 208.

3

Именно к последним годам перед гимназией относится зарождение интереса Ходасевича к литературе. Интеллектуальным развитием маленького Владислава – в частности, выбором книг для чтения – занимался по большей части Михаил Фелицианович, относившийся к самому младшему из своих братьев скорее по-отцовски (он и по возрасту годился ему в отцы). Первой книжкой, которая полюбилась мальчику, стал “Конек-горбунок” Петра Ершова. После этой колоритной и занимательной сказочной поэмы пушкинские сказки, изначально и не предназначенные для детей, показались Владиславу пресноватыми.

Зато любимцем маленького Ходасевича стал Александр Круглов. Этот невероятно плодовитый автор был прочно забыт уже к концу своей жизни. Сам Ходасевич характеризует его так: “Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же – не слащавые, без пошлого подлаживания «под детское понимание» и без нравоучений. В стихах Круглова – какое-то ровное и чистое дыхание”³⁷. Любовь к Круглову с Ходасевичем, по его собственному признанию, разделял и Валерий Брюсов.

Не всякий современный читатель, открыв книгу Круглова, согласится с этими оценками. Вот характерный пример его поэтического искусства:

Близ “Прилук”, в убогой хате
Дед Антип живет.
Бел как лунь, годам давно уж
Потерял и счет.

В хате деда вечно тихо.
По зимам он спит
Днями целыми, а летом
Над рекой сидит³⁸.

Эта несложная форма стиха (чередование четырехстопного хорее с трехстопным с рифмующимися второй и четвертой строками) была у Круглова любимой – так написано большинство его стихотворений; но даже в приведенных строках видно, как неуверенно он ею владеет. Сюжеты его стихотворений таковы: старый ослепший рыбак дед Антип продолжает ловить рыбу, так сказать, из любви к искусству; дворовые дети играют в снежки, а барчонок, которого не пускает на двор гувернер Карл Иванович, им завидует (“В морозные дни”); крестьянский мальчик вместо забав любит красотами природы – обеспокоенному деду объясняют, что его внука ждет великое будущее (“Дед и внук”). Можно ли сказать, что в подобных стихах нет слащавости? На нынешний взгляд, этим недостатком грешат и стихи Алексея Плещеева, которому Круглов явно подражает.

В то же время Александр Круглов был истинным передовым интеллигентом своего времени – он пытался обсуждать с детьми серьезные общественные вопросы, причем делал это с простодушной прямоотой. Вот, например, описание ужасающего материального оснащения сельской школы в длинном стихотворении “Ваня”:

Худо, что в школе вот нету столов,
Вместо них доски на бочках;

³⁷ Ходасевич В. *Парижский альбом (VI)* // СС-4. Т. 4. С. 211.

³⁸ Круглов А. *Вечерние досуги. Сборник рассказов и стихотворений*. СПб., 1894. С. 1.

Нет и чернильниц-то даже: за них
Несколько баночек, белых, простых
Служат уж много годов³⁹.

Популярность Круглова объяснялась простым обстоятельством: другие стихи и рассказы для детей в то время были по большей части еще хуже. Привязанность Ходасевича-мальчика к книжкам Круглова тоже не слишком удивляет – в столь юном возрасте читательские вкусы часто формируются по причинам случайным и причудливым. Но то, что поэт и на склоне лет, пережив лучшие творческие годы, сохранил верность этим вкусам, нуждается в объяснении. И единственное, что тут можно предположить, – трепетное отношение к своим первым воспоминаниям, другими словами, сентиментальность, такая же очевидная и такая же скрытая, как уже отмеченные женственная мягкость и капризность характера. Говоря о “младенчестве” поэта, приходится все время говорить о нем взрослом, и взрослый он с самого начала оказывается совсем не таким, каким хотел бы казаться.

Другой любимый поэт маленького Владислава был не в пример достойнее. Аполлон Майков и сегодня занимает видное место в пантеоне русских лириков XIX века. Уже при жизни имена Фета, Майкова и Полонского соединились в сознании читателей в своего рода триумvirат. Но триумвиры различались и по масштабу дара (Фет – поэт великий, Майков и Полонский – просто очень хорошие), и по поэтике. Импрессионист Афанасий Фет был зачинателем, прорывавшимся в XX век, последний романтик Яков Полонский – блистательным завершителем, а неоклассик и эстет Аполлон Майков всецело принадлежал своему поколению. Современниками его во Франции были парнасцы, в Англии – Теннисон и Браунинг, в Америке – Лонгфелло. Как и эти поэты, Майков разрабатывал традиционные темы любви и природы, пересказывал поучительные сюжеты из античной и средневековой истории, стремясь в первую очередь к красоте и благородству тона, но с гораздо меньшими, чем у западных собратьев, формальными изысками. Образцом для Майкова служил Пушкин, но заметно ослабленный и упрощенный. Упадок стиховой культуры, наметившийся в России в 1840-е годы и достигший апогея к 1880-м, в известной мере отразился и на нем. Валерий Брюсов в 1905 году писал, что “даже такие сильные художники, как Майков, Полонский и Некрасов, знали о «тайне» стиха лишь смутно, «по слухам»”⁴⁰. В случае Некрасова Брюсов был явно неправ, про Полонского можно спорить, а вот Майков... Пожалуй, виртуозностью и блеском он и в самом деле уступает некоторым даже совсем небольшим поэтам пушкинской поры, вроде Андрея Подолинского, не говоря уж, например, об Антоне Дельвиге. Нет в его стихах ни особой мудрости, ни смелых образов, ни остроты чувств. То, что заставляет и сегодня перечитывать Майкова, что делает сколь угодно строгую антологию русской поэзии XIX века неполной без десяти-пятнадцати его лучших стихотворений – это только ему присущая трепетная, возвышенная, ясная интонация. Слова о “ровном и чистом дыхании” применимы к нему гораздо больше, чем к Круглову. Можно сказать, что Майков – идеальный поэт для школьных хрестоматий (стоит вспомнить, что статью под названием “А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии” опубликовал в 1897 году Иннокентий Анненский – другой безвестный поэт, однако опытный и заслуженный гимназический преподаватель). Но Владя Ходасевич полюбил его еще до поступления в гимназию.

В июле 1896 года, гостя у дяди под Петербургом, на станции Сиверская (той самой, которой позднее суждено было сыграть такую важную роль в детских впечатлениях Владимира Набокова), мальчику довелось лично встретиться со старым поэтом, жившим на соседней даче.

³⁹ Круглов А. *Вечерние досуги*. СПб, 1885. С. 100.

⁴⁰ Брюсов В. *Среди стихов 1894–1924*. М., 1990. С. 217.

Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен – уйти ему от меня было невозможно. Я подошел и – отрекомендовался, шаркнул ногой, – все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:

– Я вас знаю.

И закоченел от благоговения перед поэтом – и просто от страха перед чужим стариком.

Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. <...> минут с десять мы говорили. О чем – не помню, конечно. Остался в памяти лишь его тон – тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтобы не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.

– Что же, например?

– “Ласточки”...

Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. “Продекламировал”, “с чувством”, со слезой, как заправский любитель драматического искусства⁴¹.

“Ласточки” – главный шедевр Майкова, его, можно сказать, визитная карточка в истории поэзии. Встреча и разговор с автором этих строк выглядят в контексте судьбы Ходасевича гораздо важнее, чем случайные свидания с Александром III и Иоанном Кронштадтским. Ходасевичу, единственному из больших поэтов его поколения, довелось лично встречаться и разговаривать с крупным поэтом домодернистской эпохи, поэтом, дебютировавшим в печати всего через год после смерти Пушкина. И пусть десятилетний мальчик Владя читал Майкову его, а не свои собственные стихи, биографическая параллель продолжает выстраиваться: как Александр III становится в пару Павлу I, а Елена Кузина – Арине Родионовне, так парализованный семидесятипятилетний Майков “намекает” на благословляющего “старика Державина”.

Сам Ходасевич тоже уже писал, конечно, и влияние Майкова ощущалось в его первых опытах – в формах более чем простодушных. В “Младенчестве” поэт вспоминает стихотворение, которое было “навеемо вербным торгом”, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:

Весна! выставляется первая рама –
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.

Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова – не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито как мое собственное. В этом нет ничего уди-

⁴¹ Ходасевич В. *Парижский альбом* (VI). С. 212.

вительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым своим стихотворением считает “Казачью колыбельную песню” Лермонтова⁴².

“Одна поэтесса” – это Берберова, которая, правда, сама называла “первым стихотворением” не “Казачью колыбельную песню”, а “Молитву”.

Только что приведенное “наполовину украденное” стихотворение не было первым произведением юного поэта. Ему предшествовал “мадригал”, написанный в шестилетнем возрасте и посвященный старшей сестре:

Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает – Женичку.

<...> писал я, покрывая чистые страницы тетрадок томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, облака, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя “поэзия” явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки⁴³.

Эпоха просто купалась в уютной безвкусице, и юный поэт с наслаждением дышал этим воздухом, не чувствуя никакого противоречия между ним и той аристократической культурой, культурой хорошего вкуса, тонкости, меры, одним из поздних носителей которой был Аполлон Майков. Безвкусица имела свои уровни, градусы, как по сходному поводу выразился Даниил Хармс. Романс какого-нибудь Павла Козлова – это был нижний уровень, а высший сорт аляповатой “восьмидесятнической” поэзии составляли надрывно риторические стихи Семена Надсона, доподлинного чахоточного красавца.

Впрочем, был уровень еще более высокий: мелодраматическая, сентиментальная составляющая романов Чарльза Диккенса, которые были неотъемлемой частью чтения всех культурных подростков в тогдашней Европе. Именно Диккенс (наряду с писателем меньшего ранга, сентиментальным немецким натуралистом Фридрихом Шпильгагеном) питал воображение чувствительного мальчика:

Мне виделись душераздирающие семейные сцены <...>. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: “он”. Каждый раз все кончалось тем, что “он”, произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, все устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: “Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым”. Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания – и сам начинал плакать⁴⁴.

Сам Владя прозу писать не пробовал – зато у него были опыты в драматургическом роде. От одной из таких пьес (комедии) осталось лишь название – “Нервный старик”, от другой – диалог, предвещающий, можно сказать, грядущий театр абсурда: *Г-жа Петрова*. Ах, что это такое? Кажется, выстрел! *Г-жа Иванова*. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился”.

Раннее детство поэта прошло среди людей и вещей умирающего XIX столетия. Наивная мещанская “пышность”, преувеличенная сентиментальность и аффектация и рядом – благо-

⁴² Ходасевич В. *Младенчество*. С. 206.

⁴³ Там же. С. 205, 207.

⁴⁴ Там же. С. 205.

родные реликты “высокой культуры”, как вкрапления ампира среди архитектурной эклектики. Впрочем, в ампирном здании вполне мог находиться кафешантан: так и было в доме на другой стороне Большой Дмитровки, на который выходило по меньшей мере одно из окон квартиры Ходасевичей.

Дом этот вскоре снесли; началось наступление купеческого модерна, беспощадного к “домикам старой Москвы” и к ее устоявшемуся быту. Двадцатый век – с трамваем, авто, электричеством, телефоном, радио – стремительно прорастал сквозь распадающийся мир детства. Ни одно поколение не пережило такого стремительного изменения материальной реальности за время своего детства, как люди, родившиеся в 1886 году. Может быть, лишь люди, родившиеся в году 1986-м...

4

Весной 1896 года Ходасевич сдал экзамены в Третью Московскую гимназию. Спустя несколько дней или недель он в новенькой фуражке с кокардой “из ворот Толмачевского дома на Тверской видел торжественный въезд Николая II, налюбовался иллюминацией Кремля, надышался запахом плошек”⁴⁵. В старой столице происходила коронация, вторая за пятнадцать лет. Поэт в этом случае не счел нужным специально упомянуть о трагическом происшествии, которым завершилась церемония и в котором многие увидели мрачное пророчество. Эмигрантским читателям 1930-х годов, несмотря на обилие грандиозных событий, случившихся позднее, слово “ходынка” еще было памятно. Между тем оно поминается в стихах Ходасевича: рядом с братской могилой “царских гостей”, многосотенных жертв бессмысленной давки, случившейся при раздаче гостинцев во время народных гуляний на Ходынском поле, нашла упокоение и Елена Кузина.

Тем же летом Владислав впервые увидел Санкт-Петербург. Историки (от Владимира Курбатова до Николая Анциферова) задним числом усматривали в конце XIX века “помутнение лика” великого города. Уже выросли бесчисленные доходные дома с вычурными фасадами во “флорентийском”, “старомосковском” и бог весть еще каком стиле, но с дворами-“колодцами”; растреллиевское барокко ценили и сохраняли, но архитектура ампира считалась “казарменной”; для оживления ландшафта дома в центре города красили в яркие и кричащие тона, как будто по давнему совету маркиза де Кюстина. Зимний дворец и здание Главного штаба были свекольно-красными. Тяжеловесный и душноватый “дух времени” царил повсюду – так же, как и в Москве. На мальчика, впрочем, большее впечатление произвели Озерки, в те годы – пригородное дачное место. “Пейзаж Озерков, с горой, поросшей сосновой рощей, с песчаным белесоватым скатом к озеру, с гуляющей публикой, с разноцветными дачами – смесь пошлого и сурового – запомнился навсегда. Как фантастично и как правдиво он передан через десять лет Блоком – в «Незнакомке» и «Вольных мыслях»!”⁴⁶

В Озерках вся семья жила вместе. В июле родители отправили младшего сына к дяде в Сиверскую (где и произошла его встреча с Майковым), а сами, видимо, вернулись в Москву. Осенью Владислав приступил к занятиям в гимназии.

Третья Московская гимназия, основанная в 1839 году, первоначально имела статус “реальной”. Это означало, что в ней “практические” дисциплины, необходимые для государственной службы (прежде всего юриспруденция), преобладали над древними языками. Однако в 1860-е годы, когда была упорядочена система государственного образования и все средние учебные заведения были разделены на “классические гимназии” и “реальные училища”, Третья гимназия утратила практико-юридический уклон и вернулась в лоно строгого классицизма. На рубеже веков здесь изучали не только латынь, но и греческий язык (что предусматривалось изначально, но практиковалось в то время уже не во всех классических гимназиях). В остальном программа была обычной: хороший курс математики, ограниченный – физики, обилие слабо структурированных эмпирических сведений из истории и географии, основательное изучение русской литературы – от летописей XI века до Лермонтова и Гоголя (но без более поздних авторов), более или менее приличные познания во французском и немецком. Можно было, однако, закончить гимназию, не овладев толком никаким иностранным языком – как позднее советскую школу; сам Ходасевич свободно читал по-французски и по-немецки, но в эмигрантские годы, по свидетельству хорошо знавших его людей, испытывал трудности в быто-

⁴⁵ Ходасевич В. *Парижский альбом* (VI). С. 210.

⁴⁶ Там же.

вой коммуникации: первоначально он не мог даже объясниться в немецкой лавке без помощи Берберовой.

В уже упомянутом письме Петру Зайцеву и в очерке “Виктор Гофман” Ходасевич вспоминает своих “прекрасных учителей” – поэтов и знатоков поэзии: Владимира Шенрока, Тора Ланге, Георга Бахмана, Митрофана Языкова (классный наставник Ходасевича), Петра Виноградова. Сегодня имена эти мало что говорят (или вовсе ничего не говорят) широкому российскому читателю, но специалистам некоторые из них известны. Тор Нэве Ланге, датский поэт, в 1875 году переселившийся в Россию и преподававший классические языки в гимназиях, опубликовал на родине книгу стихов, но большим признанием пользовался как переводчик главным образом античной и русской (а также древнерусской и украинской) литературы. Среди переведенного им – “Слово о полку Игореве”, сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Островского, Льва Толстого, Достоевского, Чехова. Кроме того, ему принадлежит монография об Алексее Константиновиче Толстом. Георг (Егор Егорович) Бахман, преподававший в гимназии немецкий язык, писал на этом языке стихи, дважды выходившие отдельными изданиями (второй раз – посмертно). Немного сочинял он также по-русски и по-французски. Бахман держал нечто вроде литературного салона, в котором по субботам собирались многие московские поэты, в том числе и символисты – Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис. Брюсов вспоминал о нем:

Поражая своим знанием литературы всех народов, всех стран, всех эпох, Бахман поражал еще более своей способностью видеть красоту во всех ее проявлениях, и не только видеть, но и открывать ее другим. Его душа была обширнейшим пандемониумом, в котором встречались Виктор Гюго с Бодлером, Теннисон с О. Уайльдом, Шиллер с Демелем, а Пушкин с Фофановым, и все поэты, древние, старые, новые и новейшие, с его первым кумиром, с обожаемым им Гёте⁴⁷.

Владимир Иванович Шенрок стихов своих не публиковал, зато был одним из ведущих специалистов по русской литературе первой половины XIX века, в особенности по творчеству Гоголя. Также он занимался историей русского театра. Ходасевич пропустил еще одного стихотворца, преподававшего ему словесность, – Виктора Ивановича Стражева, который был старше своих учеников лишь несколькими годами (о нем у нас еще будет повод упомянуть не раз). В гимназии в меру поощрялось поэтическое творчество, ежегодно устраивались литературно-музыкальные вечера и любительские спектакли. Казалось бы, идеальная среда для формирования поэта.

Но в очерке “Черепанов” (1936) Ходасевич рисует совсем иную сторону московской гимназической жизни, вызывающую в памяти не мандельштамовские и набоковские описания Тенишевского училища, а скорее агеевский “Роман с кокаином” (сам Ходасевич в рецензии на этот роман⁴⁸ не преминул отметить явные параллели). Гимназисты очень рано увлекались в то, что можно назвать московским полусветом, причем порою посвящение в эти далеко не ребяческие сферы жизни происходило прямо в гимназических стенах. Так, в 1901 году⁴⁹ элегантный преподаватель греческого языка А. П. Ланговой был обвинен в сексуальном совращении старшеклассников. От суда его спасло то, что он “пригрозил, что... сделает разоблачения касательно одной особы из высших московских сфер”⁵⁰ (как указывает Берберова, речь идет о великом князе Сергее Александровиче, московском градоначальнике). Многие ученики казенных и частных гимназий были завсегдатями публичных балов в Благородном собрании и в Охотничьем клубе, а также “дачных танцулек”. На эти балы юноши являлись в особен-

⁴⁷ Брюсов В. *Среди стихов*. 1894–1924. С. 238.

⁴⁸ *Возрождение*. 1937. № 4060. 17 января.

⁴⁹ Согласно автобиографической хронике Ходасевича – в 1902-м.

⁵⁰ Ходасевич В. *Черепанов* // СС-4. Т. 4. С. 298.

ных щегольских костюмах: узкие брюки, крохотная фуражка на черной муаровой подкладке, “поразительные куртки с высокими воротниками, в талию, с боковой застежкой на крючках”⁵¹. В таком же виде фланировали они по Кузнецкому мосту и по Петровке, появлялись в театрах, привлекая внимание не только одеждой, но изысканно-экстравагантными манерами. Эти малолетние денди имели успех в первопрестольной. Иные находили зрелых и щедрых покровителей или покровителей и становились на сомнительный путь. Так весьма известным московским жиголом стал некто Сергей Николаевич Дурасович, учившийся в Третьей гимназии на несколько классов старше Ходасевича. Репутация его была такова, что когда он закончил юридический факультет Московского университета, ни один присяжный поверенный не соглашался записать его к себе в помощники, что было необходимо для начала адвокатской карьеры. Единственным, кто согласился, был Алексей Сергеевич Шмаков, ставший изгоем в адвокатском сословии из-за своей безумной юдофобии (несколько лет спустя он прославился, выступив в качестве гражданского истца на процессе Бейлиса). Однако карьера в “черной сотне” у Дурасовича также не удалась – выяснилось его собственное полуеврейское происхождение. Другой соученик поэта, некто П-в, тоже прожигатель жизни со скверной репутацией, из числа “любимцев” педагога Лангового, закончил тем, что стал героем уголовной хроники: он застрелил в ресторане из ревности свою молодую жену, дочь содержателя борделя.

Не все “щеголи” вели *настолько* бурную жизнь, и, конечно, не всякая биография заканчивалась так бесславно. Иные впоследствии вошли в историю России: например, Донат Андреевич Черепанов, сын неудачливого антрепренера, в прошлом – владельца народного театра “Скоморох”, о котором и написан очерк Ходасевича. В 1917 году Донат Черепанов примкнул к левым эсерам и вскоре вошел в число их руководителей наряду с Марией Спиридоновой, Прошем Прошьяном и другими. В 1918 году он принял участие в “левоэсеровском мятеже”; годом спустя, 25 сентября 1919-го, связавшись с группой “анархистов подполья”, он участвовал в организации взрыва в бывшем особняке графини Уваровой в Леонтьевском переулке, где находился Московский комитет РКП (б). Взрыв произошел во время собрания столичного партактива, на котором обсуждались вопросы предстоящей “эвакуации Москвы” в связи с развивающимся наступлением армий Деникина. Предполагалось присутствие Ленина и Троцкого, но последний на собрание не приехал, а Ленин опоздал. Таким образом, обезглавить “большевистскую гидру” анархистам не удалось; всего же в результате взрыва погибли 12 коммунистов, в том числе глава Московского комитета РКП(б) Владимир Загорский (Лубоцкий), еще 55 были ранены и контужены. Взрыв в Леонтьевском переулке стал крупнейшим за весь период Гражданской войны террористическим актом в отношении коммунистического руководства России. Ходасевич был крайне удивлен, узнав, что отчаянный террорист – не кто иной, как “Донька” Черепанов, циник и пустельга⁵².

Впрочем, с Черепановым Ходасевич не был короток – в отличие от иных щеголей, например, Григория Ярхо, впоследствии переводчика и “немножко поэта”. Сам Владислав к числу этих беспутных хлыщей не принадлежал, но *примыкал*: дело было во все той же неутоленной любви к танцу, в ностальгии по балету. Однако позднее у него образовался “обширный круг бальных знакомств, в первые годы совершенно невинных, но затем... классе в пятом, получивших иную окраску”⁵³. О том, каковы именно были эти знакомства, можно только догадываться.

⁵¹ Там же. С. 296.

⁵² В судьбе Д. Черепанова в самом деле немало странного. Схваченный чекистами на московской улице в феврале 1920 года, он, если верить официальной версии истории Гражданской войны и красного террора, не был расстрелян, как другие арестованные участники теракта, несмотря на свое вызывающе резкое поведение на допросах. В “Красной книге ВЧК” написано, что Черепанов был сослан в Сибирь и там вскоре умер. Роман Гуль пишет, что Черепанов был задушен в камере на Лубянке по приказу Дзержинского, которому он нахамил на допросе. Вопрос о точных обстоятельствах гибели однокашника Ходасевича остается невыясненным и по сию пору.

⁵³ Ходасевич В. *Черепанов*. С. 296.

О любовной жизни Ходасевича-подростка мы знаем мало. В “донжуанском списке” к этому времени относятся два имени: под 1898 годом – Женя Кун, под 1903-м – некая Тарновская. Вероятно, что “мальчик, в Останкине летом танцевавший на дачных балах”, был уже не похож на того “паиньку”, прилежного ученика, читателя книг и собирателя бабочек, каким, по свидетельству самого Ходасевича, был он в первые гимназические годы.

Обстоятельства вокруг него тоже изменились. Владислав был в седьмом классе гимназии, когда его отец разорился. По предписанию Московской казенной палаты от 6 сентября 1902 года Фелициан Иванович Ходасевич был исключен из купечества 2-й гильдии и причислен к московским мещанам⁵⁴. К этому времени, слава богу, все дети, кроме младшего сына, были уже “пристроены”: Михаил закончил юридический факультет и стал известным адвокатом; Константин (Стася) сперва учился на медицинском, потом тоже перешел на юридический и, закончив, занимался адвокатской практикой, но с меньшим, чем старший брат, успехом. Евгения Фелициановна вышла замуж за адвоката Кана; старшая сестра, Мария, была замужем с конца 1880-х. Виктор, видимо, получил фармацевтическое образование: он владел аптекой в Москве, но в 1905-м тоже обанкротился. Скорее всего, Михаил не оказал Виктору помощи, на которую тот рассчитывал. Во всяком случае, между братьями произошел разрыв: Виктор не бывал в гостях, если там можно было встретить Михаила⁵⁵, а после смерти родителей, по свидетельству А. И. Ходасевич, вовсе перестал общаться с братьями и сестрами. Но это все было позднее. Пока же (в 1903-м) Владислав переехал от стариков-родителей к Михаилу, ставшему, по существу, главой семьи (в том же доме, что и Михаил Фелицианович, на углу Тверской и Пименовского переулка жил Григорий Ярхо). Он и прежде часто бывал здесь – подолгу возился со своей маленькой племянницей Валентиной, которая обожала его и беспрекословно слушалась. “Родители, помню, говорили, что Владя для меня «царь и бог». Это звучало загадочно, ибо я не понимала ни первого, ни второго слова. И если я упрямылась, мама говорила: «Владя, скажи ей». А я ему говорила: «Ты же мой царь и бог – поиграй со мной», или позднее: «Царь и бог! У меня не получается, сколько будет пять и три, – помоги»”⁵⁶, – вспоминала Валентина Михайловна Ходасевич. Обычно Владя читал девочке вслух или они играли “в театр”: делали декорации для несуществующих пьес. Но к тому времени, как Владислав переехал к брату, он был уже слишком погружен в свои “взрослые” переживания и мало внимания обращал на маленькую Валю.

Видимо, ухудшившееся материальное положение семьи пока особенно не сказалось на жизни Владислава; денег на куртки с косыми воротничками и прочие аксессуары хватало. С другой стороны, следить за поведением юноши толком теперь было некому – и он с головой окунулся в “бальную” жизнь.

Не исключено, что и “пылкое увлечение театром”, о котором поэт кратко упоминает в письме Петру Зайцеву, как-то связано с этой светской жизнью московского гимназиста. Но к 1903 году жизненный выбор был сделан: Владислав Ходасевич почувствовал себя поэтом и решил навсегда посвятить себя поэзии.

⁵⁴ РГИА. Ф. 418. Оп. 318. Д. 1279. Л. 4.

⁵⁵ См. письмо С. Я. Ходасевич В. Ф. Ходасевичу от 1 августа 1911 года (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 1).

⁵⁶ Ходасевич В. Ф. *Портреты словами*. С. 37.

5

Занятия литературой (и любым другим искусством) в начале XX века почти неизбежно вели в тот волнующий, экзотический, тревожный мир, который большинство современников звало странным и непочетным словом – “декаданс”. То есть “упадок”. Сами “декаденты” с вызовом принимали это прозвище.

Если на то пошло, “стильные” костюмы фланирующих гимназистов и гривуазные похождения некоторых из них были тоже проявлением – низовым и гротескным – новой эпохи, разрушавшей уютный мир “русского викторианства”. Одновременно перед юным поэтом раскрывалась другая, высокая сторона нового времени.

В “модернистской революции” 1890-х годов между Москвой и Петербургом существовало своего рода разделение труда. Петербуржцев – Дмитрия Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Василия Розанова, Акима Волынского – привлекало прежде всего “новое религиозное сознание” и связанная с ним новая жизненная этика. Обновление собственно художественного языка стало в большей мере заботой москвичей. “Старший” символизм, сосредоточивший внимание на вопросах формы, был скорее московской затеей, и центральная роль здесь принадлежала Валерию Брюсову.

В сущности, само слово “символизм” было во многом случайным – то, что обозначалось этим словом в России и в других странах (прежде всего во Франции, Бельгии, в Скандинавии), было хотя и родственно, но не вполне идентично. Одна из примет “догоняющих” культур, в том числе русской, – заимствование иностранных “брендов”, которые призваны легитимизировать собственные художественные поиски. Первый сборник “Русские символисты” вышел в 1894 году, всего через восемь лет после возникновения школы символистов во Франции, но в России слово появилось едва ли не раньше обозначаемых им текстов. Причем на практике двадцатидвухлетний Валерий Брюсов, внук московского пробочного фабриканта и сын рантье-домовладельца, ориентировался не только (и не столько) на символизм, сколько на всю традицию французской поэзии второй половины XIX века, начиная с Парнаса. Тридцать лет спустя Осип Мандельштам так описал это: “русской поэтической мысли снова открылся Запад, новый, соблазнительный, воспринятый весь сразу, как единая религия, будучи на самом деле весь из кусочков вражды и противоречий”⁵⁷. Но в 1890-е годы это было мало кому понятно. Достаточно прочесть некоторые обличающие “декадентов” статьи, чтобы увидеть, каким было представление российского интеллигентного обывателя о современной ему европейской культуре. Да и не только современной. Андрей Белый вспоминал: “Когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорящие не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера и других «проклятых», ни Гёте, ни даже Пушкина...”⁵⁸ “Декаденты” открывали России не только наполовину придуманный Запад, но и подлинное прошлое собственной литературы. Но сначала открывали его себе самим и друг другу.

Но как пишет тот же Андрей Белый, “не прошло и пяти лет, как эти «чайные столы», за которыми отдыхали изгнанные отовсюду, стали кружками, салонами, книгоиздательствами – сперва для «немногих», таких как мы”⁵⁹. Сборники “Русские символисты” были восприняты читающей публикой как курьез. Но уже на рубеже веков, то есть всего несколько лет спустя, Бальмонт стал самым читаемым живым поэтом в России, его слава была сопоставима со славой Надсона. Брюсов не был настолько популярен у широкого читателя, но в литературных кругах его имя звучало все более весомо.

⁵⁷ Мандельштам О. *Письмо о русской поэзии* // Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 264.

⁵⁸ Андрей Белый. *На рубеже двух столетий*. М., 1989. С. 37.

⁵⁹ Там же. С. 36.

Разумеется, не обходилось без борьбы. В январе 1903 года гимназист Ходасевич стал свидетелем одного из ее эпизодов: “контрабандой” он попадает на заседание Московского литературно-художественного кружка (своего рода клуба московской интеллигенции, основанного в 1899 году при участии Чехова, Станиславского, Кони и находившегося первоначально на Воздвиженке), чтобы послушать знаменитую речь Брюсова о Фете⁶⁰.

Как вспоминал впоследствии Владислав Фелицианович,

литературная комиссия состояла из видных адвокатов, врачей, журналистов, сиявших достатком, сытостью, либерализмом. В ней председательствовал председатель правления – психиатр Баженов, толстый, лысый, румяный, курносый, похожий на чайник с отбитым носиком, знаток вин, “знаток женского сердца”, в разговоре умевший французить, прищипывать губами и артистически растягивать слова, “русский парижанин”, автор сочинения о Бодлере – с точки зрения психиатрии. <...> он с явным неодобрением слушал речь непризнанного декадентского поэта, автора “бледных ног”, восторженно говорившего о поэзии Фета, который, как всем известно, был крепостник да к тому же и камергер. Неодобрение разделялось и остальными членами комиссии, и подавляющим большинством публики. Когда начались прения, поднялся некто, имевший столь поэтическую наружность, что ее хватило бы на Шекспира, Данте, Гёте и Пушкина вместе. То был Любошиц, фельетонист из “Новостей Дня”. Рядом с ним Брюсов имел вид угнетающе-прозаический. Любошиц объявил напрямик, что поэзия Фета похожа на кокетку, скрывающую грязное белье под нарядным платьем. Этот образ имел успех потрясающий. Зал разразился бурей аплодисментов. Правда, говоря о Фете, Любошиц приписал ему чьи-то чужие стихи. Правда, бурно выскочивший на эстраду юный декадентский поэт Борис Койранский тут же и обнаружил это невежество, но его уже не хотели слушать. Ответное слово Брюсова потонуло в общественном негодовании.⁶¹

Но по крайней мере либеральные адвокаты уже готовы были слушать речь “декадента” о “крепостнике” – даже они чувствовали, что времена меняются. Пятью годами раньше выступление кого-то из символистов в подобной аудитории едва ли было бы возможно (кстати, тот же Любошиц еще чуть позже, по свидетельству Белого, стал “другом” декадентов).

Издательство “Скорпион”, основанное в 1900 году ближайшим другом Брюсова Сергеем Поляковым, меценатом из текстильных фабрикантов, лингвистом-любителем и переводчиком, выпускало книги русских “новых” писателей наряду с сочинениями Верлена, Гамсуна, Уайльда. Во втором выпуске скорпионовского альманаха “Северные цветы” счел возможным напечататься чуждый символистам, иронически к ним относившийся (но чтимый ими) Антон Чехов.

И наконец, в 1904 году, когда Ходасевич закончил гимназию, начал выходить самый значительный символистский журнал “Весы”, субсидируемый Поляковым и редактируемый Брюсовым. Но к тому времени русский символизм был уже несколько иным. Именно 1900–1901 годы стали точкой перелома: смерть Владимира Соловьева, издававшегося над “старшими” символистами и так почитаемого “младшими”; выход “Кормчих звезд” – первой книги старшего по возрасту из “младших” Вячеслава Иванова, которого Соловьев как раз ценил и, можно

⁶⁰ “Контрабандой” – потому что хотя лекции были публичными и вход стоил не особенно дорого, 50 копеек, гимназисты в “Кружок” не допускались. Владиславу пришлось сшить себе взрослый костюм: черные брюки и к ним двусмысленную тужурку – не гимназическую, потому что черную, но и не студенческую, потому что с серебряными пуговицами.

⁶¹ Ходасевич В. *Московский литературно-художественный кружок* // Воспоминания о Серебряном веке / Сост., предисл. и коммент. В. Крейда. М., 1993. С. 389–390.

сказать, благословил; первая публикация Блока. С этого момента два крыла движения – те, для кого символизм был лишь средством “выразить тонкие, едва уловимые настроения <...> рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя”⁶², и те, кому он казался “упреждением той гипотетически мыслимой, собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две отдельные речи – речь об эмпирических вещах и явлениях и речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте”⁶³, – существовали бок о бок, словно и не догадываясь о своей розни, чтобы лишь десятилетием спустя осознать, что под одними и теми же словами подразумевали разное. Но к тому времени солнце русского символизма давно уже минует зенит.

Пока же символистская поэзия (воспринятая вперемешку с более или менее наивным бытовым “декадентством”) завоевывает все новых поклонников среди российского юношества. Положение таких местных “декадентов” было разным: Гумилев и Ахматова чувствовали себя одиноко в чиновничье-пензионерском Царском Селе, над косоглазым “Гумми” сверстники даже в открытую смеялись. Ходасевичу повезло больше: в Третьей Московской гимназии он был отнюдь не единственным “декадентом”. Более того, обстоятельства очень рано позволили ему соприкоснуться с самим центром нового эстетического движения.

Кроме Григория Ярхо, с которым Ходасевича сближало не только бальное щегольство, но и любовь к поэзии, известны имена еще двоих его одноклассников – Георгия Малицкого, впоследствии ученого секретаря Государственного исторического музея, и Александра Брюсова. Оба останутся рядом с Ходасевичем и во взрослой жизни, но общение с Александром Брюсовым будет особенно важным. Бок о бок с этим нервным, инфантильным, не находящим себя скитальцем Владислав Фелицианович провел самые трудные годы своей молодости. Потом их пути разошлись: Ходасевича ожидали слава и изгнание, Александра Брюсова, лишь в сорок лет получившего университетский диплом, – карьера ученого-археолога, ставшего к концу жизни корифеем в своей профессиональной области. В юношеском стихотворении, посвященном Александру, Ходасевич пишет:

Меня роднят с тобою дни мечтаний,
Дни первых радостей пред жертвенным огнем...
И были мы во власти обаяний,
И сон ночной опять переживали днем.

Но важнее всего, пожалуй, то, что именно через Александра Брюсова Ходасевич сблизился с двумя людьми, сыгравшими важнейшую роль в его жизни. Первым из этих двоих был старший брат Александра – составитель “Русских символистов”, издатель “Весов”, главный мэтр московского символизма.

То, что для тысяч юношей и девушек стало скандальной и притягательной легендой, для Александра Брюсова было частью его детства. Знаменитые строки про “лопасти латаний на эмалевой стене” сочинялись в его присутствии, и он хорошо знал, что речь идет об экзотических растениях в кадках на фоне кафельной печи в одной из комнат брюсовской квартиры на Цветном бульваре. Ходасевич познакомился с Валерием Яковлевичем, когда ему было одиннадцать, а Брюсову-старшему – двадцать четыре: “Его вид поколебал мое представление о «декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были «декаденты» по фельетонам «Новостей Дня») – увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке.

⁶² Брюсов В. Предисловие к сборнику “Русские символисты” // Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. С. 35.

⁶³ Иванов Вяч. Заветы символизма // Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971–1987. Т. 2. С. 593.

Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке”⁶⁴. Контраст между дерзаниями символизма и бытовым, житейским обликом его виднейших представителей обыгрывался многими насмешливыми современниками, но ни у кого из русских символистов этот контраст не был так явен, как у Брюсова. И если бы речь шла только о внешности!.. Сам склад личности Валерия Яковлевича был глубоко буржуазен и гораздо больше соответствовал его семейным корням, чем поприщу. Аккуратный, деловой, невероятно работоспособный, властолюбивый, изысканно-вежливый в манерах и жестко-авторитарный по существу – таким описал его Ходасевич в “Некрополе”, и по этому великолепному в своей выразительности описанию мы до сих пор Брюсова и представляем. Но Ходасевич знал и другую, более привлекательную сторону брюсовской “буржуазности”. Дело не только в том, что “этот дерзкий молодой человек... [был] способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены”⁶⁵. В самой поэзии раннего Брюсова грандиозное и экстравагантное сочеталось с простым, наивным, домашним, трогательно-пошловатым. “Все эти тропические фантазии – на берегах Яузы, переоценка всех ценностей – в районе Сретенской части”⁶⁶. И конечно, Ходасевич своими глазами видел латании и криптомерии, которые разводила Матрена Александровна, дочь купца-графомана Бакулина, жена ленивого домовладельца, мать главного русского декадента. Даже много лет спустя, давно разочаровавшись в Брюсове как поэте и человеке, он находил особое обаяние в этом “остром изломе”. Сегодня это обаяние уже неощутимо. Те “две строки в истории мировой литературы”, о которых Брюсов, по словам Ходасевича, мечтал, он получил вполне заслуженно, – как, может быть, и целую страницу в истории отечественной словесности. Другого посмертия (и бессмертия) он не искал – и не удостоился его. Ни разу не удалось ему остановить время внутри строки или строфы.

Но трагедия Брюсова была даже не в том, что собственно лирический талант уступал в его случае критическому чутью, уму, трудолюбию, эрудиции – и сам он именно в силу своего ума и критического дара не мог этого не понимать. Хуже то, что первый русский символист стал символистом, можно сказать, по расчету. “Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало!.. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. И этим вождем буду Я!”⁶⁷ Едва не каждый элемент той мировоззренческой и эстетической системы, утверждению которой Брюсов способствовал активнее, чем кто-либо другой, противоречил его внутренней органике, писательской и человеческой. И он эту органику сознательно насиловал и коверкал. Холодному мастеру-“парнасцу”, ему приходилось имитировать душевный жар и постоянное эмоциональное напряжение (современники верили, восторгались и подражали, но уже спустя поколение искусственная взвинченность брюсовских стихов перестала действовать на читателей). Рационалист, он смолodu заставлял себя писать суггестивные, импрессионистические стихи и истово переводил Верлена. В иное время он остался бы, возможно, честным позитивистом-агностиком, но эпоха и школа подразумевали причастность к “тайнам”, и он стал адептом сомнительного оккультизма и завсегдатаем спиритических сеансов. Именно здесь, в этой внутренней искривленности, несоответствии себе самому и таясь, возможно, корни той болезненной суетности, того желания “не отстать от времени”, которое предопределило многие стороны поведения Брюсова в 1910-е годы и особенно после 1917-го.

В начале века, когда Брюсов был молод, ярок, полон сил и наделен исключительным умением завлекать людей на свою психологическую и интеллектуальную орбиту, предсказать эту

⁶⁴ Ходасевич В. *Брюсов* // СС-4. Т. 4. С. 19.

⁶⁵ Ходасевич В. *Брюсов*. С. 19.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Брюсов В. *Дневники. Автобиографическая проза. Письма*. М., 2002. С. 28.

драматическую эволюцию было трудно. Как и трагедию Виктора Гофмана, тоже выпускника Третьей гимназии, учившегося на класс старше Ходасевича, Георгия Малицкого и Александра Брюсова.

Ходасевич и Гофман подружились на переменах, которые они проводили в разговорах о новой поэзии. Особенно сблизило их совместное участие в постановке “Камоэнса” Василия Жуковского, предпринятой в 1902 году преподавателями и учениками гимназии. “От скольких уроков избавили нас репетиции! – вспоминал впоследствии Ходасевич. – Сколько говорено было в те часы! Ведь какие времена были! В те дни Бальмонт писал: «Будем как Солнце», Брюсов – «Urbi et orbi». Мы читали и перечитывали всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских «Северных Цветов». <...> Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы! Весна, солнце светит, так мало лет нам обоим, – а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно. <...> Какие счастливые дали открываются перед нами, какие надежды! И иногда от восторга чуть не комок подступает к горлу”⁶⁸. Времена в самом деле были славные – тот пролог XX века накануне Первой мировой, который был прозван “прекрасной эпохой”, время великой революции в мировой культуре. Тем, чья юность пришлась на подобное время, повезло. Ностальгию по этим веселым и вдохновенным дням Ходасевич сохранил на всю жизнь.

Гофман уже носил Брюсову свои стихи и удостоился его поощрительного отзыва. Понятно, какую зависть это вызывало у Владислава: он-то общался с мэтром пока лишь шапочно, в качестве одноклассника его младшего брата. А Гофман, тоже еще ученик восьмого класса, регулярно бывал на знаменитых брюсовских “средах”. Более того – он стал любимым учеником Валерия Яковлевича, его другом и конфидентом; в литературных кругах юного Виктора, играя словами, называли “брюсовским ликтором”⁶⁹. Брюсов бывал у своего молодого приятеля дома, посвящал ему стихи. Одно из них начиналось так:

Три имени в веках возникли,
В них равный звук и смысл один,
И к ним уста любви привыкли:
Валерий, Виктор, Константин.

Сколько юношей отдали бы все, чтобы их имя прозвучало в таком контексте – рядом с именами кумиров поколения, знаменитейших поэтов молодой России!

Гофман увидел свое имя в печати (в том числе в “Северных цветах”) прежде, чем получил аттестат зрелости. Любопытно, что благодаря дружбе с Брюсовым он стал если и не на равных, то в неофициальной обстановке общаться со своими гимназическими учителями, Бахманом и Ланге. Бахман оказал на него особенно сильное влияние. Немецкий язык (предмет, преподаваемый “Егором Егоровичем”) Гофман, сын иммигранта из Австрии, и так знал превосходно, знал и немецкую литературу, зато Бахман в личных беседах открыл ему англоязычную поэзию.

И вдруг все в одночасье кончилось: Брюсов порвал с Гофманом. Почему – объясняет Ходасевич в поздней версии воспоминаний о своем гимназическом товарище: “Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов”⁷⁰. Утверждая, что после этого перед Гофманом закрылись двери всех символистских издательств (и “Скорпиона”, и новосозданного “Трифа”), Ходасевич, разумеется, сгущает краски: для

⁶⁸ Ходасевич В. *Виктор Гофман* // Последние новости. 1925. 14 октября.

⁶⁹ Ликтор – человек, сопровождавший (в качестве порученца, оруженосца или телохранителя) должностное лицо в Древнем Риме.

⁷⁰ Ходасевич В. *Виктор Гофман. К двадцатипятилетию со дня смерти* // СС-4. Т. 4. С. 287.

“Грифа” Брюсов был не указ, и в грифовских изданиях Гофман участвовал. Да и с Брюсовым он через некоторое время почти помирился, и в “Весах” стал сотрудничать. Необходимость зарабатывать на жизнь газетно-журнальной поденщиной в случае Гофмана отнюдь не была результатом “остракизма”. Но все же низвержение из рая состоялось: прекрасный юноша, допущенный в круг бессмертных, превратился в профессионального литератора не самого высокого разряда, редактора “Нового журнала для всех”, сочинителя салонных любовных новелл и автора двух книг благозвучных до излишества стихотворений, некоторые из которых (“Летний бал”) стали популярны у широкого читателя и вошли в антологию “Чтец-декламатор”, что, однако, не принесло поэту ни денег, ни репутации в профессиональных кругах.

В сущности, этот статус вполне соответствовал масштабу личности Гофмана. Даже расположенные к нему люди отмечали узость его душевного мира, а нерасположенный Андрей Белый писал прямо: “Слащавенький, розоволицый, капризный красавчик, весьма некультурный во всем, что не стих”⁷¹. Кроме стихов у Гофмана был еще один конек – романтическая любовь. Но этот заурядный, а главное, очень несложный человек впитал жизненную этику декадентства, согласно которой смысл человеческого существования заключался в “лихорадочной погоне за эмоциями, безразлично за какими”⁷², в “непрестанном горении, движении – безразлично во имя чего”⁷³, “непрестанном самоодурманивании”⁷⁴, в культе исключительного и небывалого. Результат был банален: тяжелое нервное расстройство и самоубийство в Париже в 1911 году. Причем Гофман был далеко не единственным из близких Ходасевичу людей, которых ждал такой конец.

Судьба “малых сих”, соблазненных сверкающими огнями прекрасной эпохи, была временами страшна, да и судьба соблазнителей незавидна. Но это была плата за выход из того душно-уютного мира, в котором прошло детство и где юноше было уже тоскливо и тесно. Готов ли семнадцатилетний Владислав Ходасевич платить такую цену? И знает ли он о ней?

6 Некий ответ на этот вопрос дает, как ни странно, школьное сочинение Ходасевича, случайно сохранившееся в его архиве⁷⁵.

Название его – “Правда ли, что стремиться лучше, чем достигать?”.

Предоставим слово поэту. Здесь мы впервые слышим его собственный голос, не считая двестишестилетнего брата к “Женичке”:

Принято считать, что успех какого-либо предприятия в большей степени зависит от той энергии, с которой оно ведется, от силы стремления к достижению конечной цели. “Тому в истории мы тьму примеров слышим”. Но однако, никто никогда не говорил, чтобы само стремление было ценнее предприятия. <...>

Человек, говорящий, что находит удовлетворение в самом стремлении, в “роковом горении”, – человек беспокойный и для общества более чем бесполезный. А раз человек для общества, в котором он живет и благами которого пользуется, бесполезен, то все его стремление – не более чем удовлетворение личных прихотей, да и то удовлетворение его весьма и весьма сомнительно⁷⁶.

⁷¹ Андрей Белый. *Начало века*. М., 1990. С. 229.

⁷² Ходасевич В. *Конец Ренаты* // СС-4. Т. 4. С. 10.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Ходасевич В. *Виктор Гофман. К двадцатипятилетию со дня смерти*. С. 286.

⁷⁵ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 26.

⁷⁶ Там же. Л. 1–1 об.

И это пишет юноша, более того – молодой поэт, да притом еще и “декадент”, зачитывающийся скорпионовскими книжками? Впрочем, о декадентах сказано ниже:

Герои новейших литературных произведений, стремящиеся к “сверхчеловеческому”, – чего они достигают? Сильнейших нравственных потрясений, расстройства, разочарования, огорчений, расстроенного здоровья – и только⁷⁷.

Здесь ирония уже бросается в глаза. Понятно, что сам-то юный автор готов пережить разочарования и огорчения и даже пожертвовать здоровьем ради стремления к сверхчеловеческому, к запредельному. Но Ходасевич не просто издевается. В семнадцать лет он догадывается о существовании двух правд, двух возможных ответов на один вопрос:

Каждый смотрит по-своему: люди, живущие здоровой жизнью, говорят, что хороша цель, достойна слабого, но удовлетворения, а “великие безумцы”, пророки и поэты – что

Жизни цель и красота
В бурях вечного исканья⁷⁸.

Процитированные стихи принадлежат, как указано в помете на полях, сделанной рукой педагога, Георгию Малицкому.

Какой же оценки удостоилось сочинение? “4+ за учтивое доказательство той точки зрения, которую вы презираете”⁷⁹.

Пока Ходасевич действительно презирает точку зрения “людей, живущих здоровой жизнью”. С годами он признает за ней некую правоту. А что же учителя? Как они относились к “декадентским” увлечениям гимназистов? Считали ли они их допустимыми?

В письме Петру Зайцеву Ходасевич уверяет, что учился отлично, и лишь из-за декадентства и “вредного влияния на товарищей” остался без медали. Андрею Белому рассказывал, что “худой, бритый, зеленый от кисли, обиженно-томный (до темных кругов под глазами), во веки веков благородный, «наилиберальнейший», «наилевейший»” молодой учитель Виктор Стражев ставил ему “о нет, не балл! – треугольник: не смей защищать декадентов”⁸⁰, сам притом печатая символистские стихи!

Пострадать за “новое искусство” было почетно, но юный Ходасевич, судя по сочинению, был достаточно тонок и гибок, чтобы его могли “поймать на слове”. По свидетельству Брониславы Рунт-Погореловой, свояченицы Валерия Брюсова, товарищи по гимназии звали Владислава “дипломатом” – “за выдержку не по летам, за совершенно «взрослую» корректность”⁸¹. Едва ли он стал бы запальчиво излагать свои воззрения на уроке. К тому же слишком уж много декадентов было в Третьей гимназии и среди учеников и среди педагогов, чтобы кого-то преследовать. Так что в легенде, рассказанной поэтом, стоит усомниться. Со Стражевым Ходасевич общался позднее в литературных кругах как ни в чем не бывало. А в аттестате его – ни одной пятерки: вряд ли по всем предметам (Закон Божий, логика, греческий, латинский, география, математика, физика, история, французский) отметки занижены на балл, а по немецкому – на целых два, до тройки. Зато к поведению и нравственности его претензий нет: “Поведение его было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также

⁷⁷ Там же. Л. 2–2 об.

⁷⁸ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 2–2 об.

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ Андрей Белый. *Начало века*. С. 233–234.

⁸¹ Погорелова Б. *Валерий Брюсов и его окружение* // Воспоминания о Серебряном веке. С. 35.

в исполнении письменных работ довольно хорошая, прилежание достаточное и любознательность развитая, особенно по русскому языку”⁸².

Гимназию Ходасевич закончил в мае 1904-го. И тем же годом датируются первые его дошедшие до нас стихи. Начинается новая – настоящая – жизнь.

⁸² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 112.

Глава третья. Молодость

1

Осенью 1904 года Ходасевич поступил в Московский университет, первоначально – на юридический факультет, который уже закончили два его брата.

Об университетских годах поэта можно сказать совсем немного. У нас есть лишь официальные документы. Справка, выданная ректоратом в 1912 году, гласит, что “означенный <...> Владислав-Фелициан состоял в числе студентов” на юридическом факультете в течение 1904–1905 академического года и на историко-филологическом факультете в течение 1905–1906 и 1906–1907 годов⁸³. Осенью 1907 года поэт был отчислен из университета за невнесение платы. В течение 1908–1910 годов он еще дважды восстанавливался в *alma mater* (второй раз почему-то на юридическом факультете) и дважды исключался из нее; в конце концов он был отчислен, так и не получив диплома. Это очень похоже на историю университетской жизни Гумилева или Мандельштама: вроде бы и необходимо получить официальное высшее образование, но что это дает профессиональному литератору-модернисту – не слишком понятно, да и совмещать божественную жизнь с правильным студенчеством не особенно получается.

В первое время обучения в университете Владислав продолжал жить у брата. Теперь он исполнял для Михаила Фелициановича секретарские обязанности, тот же платил ему жалование – 75 рублей в месяц. Вскоре, впрочем, это закончилось.

Сам Ходасевич никаких воспоминаний об университете не оставил. Обратимся к свидетельствам писателей, посещавших Московский университет одновременно или почти одновременно с ним. Михаил Осоргин (Ильин), видный прозаик первой волны эмиграции, был студентом юридического факультета на рубеже столетий. Он с симпатией вспоминает профессора истории русского права Д. Я. Самоквасова (“большой старик с отлично сделанной из плотной осмоленной пакли бородой”⁸⁴), специалиста по римскому праву, известного социолога В. М. Хвостова (“Хвостов был ядовит и резал безжалостно. Благодаря этому я отлично знаю, что столб воздуха над недвижимостью принадлежит ее владельцу, и прихожу в бешенство, когда над моим клочком земли пролетает аэроплан”⁸⁵), прозектора П. А. Минакова, увлекательно читавшего курс судебной медицины, и даже профессора гражданского права Л. А. Кассо, который впоследствии в качестве министра народного просвещения стал в глазах передовой общественности настоящим исчадием ада.

На историко-филологическом факультете в эти годы преподавали В. Ф. Миллер, В. О. Ключевский, их многочисленные ученики. Некоторые профессора, впрочем, пользовались популярностью во всем университете, невзирая на факультет и преподаваемый предмет. Студенты-филологи и юристы, к примеру, с энтузиазмом посещали лекции орнитолога М. А. Мензбира, будущего (в 1917–1919 годах) ректора.

Надо признать, однако, что Ходасевичу университет, судя по всему, дал немного. И вина в том не только его собственная.

Первая же его студенческая зима стала началом бурного времени, продолжавшегося в университете – как, собственно, и во всей России – несколько лет.

⁸³ РГИА. Ф. 418. Оп. 318. Д. 79. Л. 37.

⁸⁴ Осоргин М. А. *Воспоминания* // Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. М., 2005. С. 477–479.

⁸⁵ Там же.

Шла неудачная и непопулярная война с Японией. 17 октября 1904 года полиция на Ярославском вокзале грубо разогнала студентов и курсисток, провожавших на фронт своих товарищей.

Это стало толчком к целой серии студенческих демонстраций и сходок, на которых принимались резолюции с весьма размашистыми требованиями. Власти в ответ грозили репрессиями.

В декабре Александр Брюсов пишет Ходасевичу, которого личные обстоятельства (о них – ниже) удерживают в подмосковном Лидино:

Вот я и в Москве. Приехал 25-го и тотчас узнал неутешительные новости. Говорят, что университет будет закрыт на второе полугодие. Удружили! Этого я никак не ожидал.

Вести с Дальнего Востока еще более неутешительные, но ты, кажется, ими не интересуешься вовсе. Однако есть и такие, которые будут любопытны для тебя.

Немецкие газеты пишут, что Вильгельм предлагал Николаю взорвать Порт-Артур до основания, когда еще был цел флот, посадить на него всех жителей и прорваться через японскую эскадру, если будет это возможно; во всяком случае, хуже того, что произошло, не было бы⁸⁶.

(Германский император пока что – друг, кузен и союзник Николая II.)

Следующий семестр начался уже после Кровавого воскресенья. 1 февраля 1905 года очередная сходка констатирует, что в настоящее время “нормальный ход образования и академической жизни немыслим”⁸⁷, и призывает студентов прекратить занятия до 1 сентября. Таким образом, деятельность университета все-таки была парализована, но не властями, а самими студентами.

27 августа, накануне осеннего семестра, был принят новый университетский устав, восстановивший отмененную в 1884 году автономию университета: выборность ректоров и деканов, а также (что оказалось особенно важно в год волнений) полицейскую экстерриториальность. Ректором был избран князь Сергей Николаевич Трубецкой, философ, последователь Владимира Соловьева. Можно сказать, что это была победа не только либеральной политики, но и модернистской культуры. Тем временем в университет устремляются активисты всех леворадикальных партий, которые используют недоступные полиции университетские аудитории для собраний и митингов. В результате 22 сентября 1905 года власти закрывают университет.

27 сентября Трубецкой отправился в Петербург с дерзким заявлением университетского совета, который призывал правительство “узаконить свободу общественных собраний, с тем чтобы оградить высшую школу от наплыва лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность”⁸⁸. На следующий день он скорострительно скончался от инсульта после резкого разговора с петербургским градоначальником и товарищем министра внутренних дел Дмитрием Федоровичем Треповым. Через неполных три недели свобода собраний в России была введена Высочайшим манифестом 17 октября. А еще через год сам Трепов (вовсе не такой кровавый держиморда, каковым принято было считать его в левых кругах) тоже скорострительно умер от болезни сердца.

Университет вскоре открылся, но там по-прежнему было не до учебы. В середине октября он подвергся осаде черносотенцев – защищали его дружинники из революционных партий. Закончилось все тем, что университетский совет вынужден был просить защиты у властей. 29 октября университет был занят войсками и снова закрылся до 15 января следующего года.

⁸⁶ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 1.

⁸⁷ *История Московского университета*: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 515.

⁸⁸ Там же. С. 517.

Позднее, вплоть до лета 1907 года, он закрывался еще трижды. Другими словами, из шести семестров в 1904–1907 годы университет функционировал как учебное заведение от силы три.

Как относился ко всему этому Ходасевич? Косвенным свидетельством может служить стихотворение Александра Брюсова:

Владиславу-узнику

*Ты слова гордого “свобода”
Ни разу сердцем не постиг.*

Фет

“Молчи, поникнув головою”,
Когда кругом гремит гроза.
Ты отступил перед борьбою,
Закрыв испуганно глаза.

Нет! Ты не знаешь вдохновений,
Ты раб, и цепи твой удел.
Нет! Никогда свободный гений
В тюрьме тюремщикам не пел.

Когда разорваны оковы,
Под грохот падающих стен
Позорно, дико песней новой
Хвалить свой душный, затхлый плен.

Под гнетом каменного свода
Ты задавил свободный стих,
И слова гордого “свобода”
Ни разу сердцем не постиг⁸⁹.

Александр Яковлевич, который во все времена простодушно и бескорыстно (не в пример старшему брату) разделял господствующие настроения, темпераментно упрекает своего друга за равнодушие к революции, используя при этом (что особенно забавно) эпиграф из стихотворения Афанасия Фета, прямо противоположного по мысли и направленного против “псевдо-поэта” Николая Некрасова.

Так же точно обличал Брюсов-младший за равнодушие к политическим страстям эпохи своего знаменитого брата. Памятником этих споров осталось стихотворение Валерия Брюсова “Одному из братьев, упрекнувшему меня, что мои стихи лишены общественного значения”:

Свой суд холодный и враждебный
Ты произнес. Но ты неправ!
Мои стихи – сосуд волшебный
В тиши отстоянных отрав.

⁸⁹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 2.

Стремлюсь, как ты, к земному раю
Я под безмерностью небес;
Как ты, на всех запястьях знаю
Следы невидимых желез.

Но, узник, ты схватил секиру,
Ты рушишь твердый камень стен,
А я таясь, готовлю миру
Яд, где огонь запечатлен.

Он входит в кровь, он входит в душу,
Преображает явь и сон...
Так! Я незримо стены рушу,
В которых дух наш заточен!..

Как же на самом деле воспринимал Валерий Брюсов революцию 1905 года? Двойственно – наверное, именно такой ответ будет правильным. Он был далек от сочувствия свободолобивой общественности, которое разделяло большинство писателей-модернистов. В печати он издевался над бездарными “гражданскими” виршами недавнего друга и соратника Бальмонта (хотя и сам некогда написал “Каменщика” и “Кинжал”) и мягко полемизировал со статьей г. Ульянова-Ленина “Партийная организация и партийная литература” (не подозревая, что закончит жизнь членом ленинской партии и чиновником ленинского государства, а самого вождя отпоет как всегда звучными, истинно брюсовскими ямбами). В письмах доверенным товарищам он был откровенней. В феврале 1905-го он писал Петру Перцову: “Либеральные интеллигентшишки, ругавшие декадентов на заседаниях художественного кружка, будут заседать в русском парламенте <...>. Правовое государство, административный произвол – когда я слышу эти слова, мне хочется спустить говорящего с лестницы”⁹⁰. Соперник Брюсова в литературно-издательских делах и в любви Сергей Кречетов (Соколов) написал стихотворный пасквиль (Ходасевич не забывает процитировать его в своих мемуарах), в котором прямо обвиняет Валерия Яковлевича в погромно-черносотенных настроениях и разговорах. Конечно, в реальности все было сложнее: человек сильный, умный и по-своему смелый, Брюсов одинаково презирал и глуповатых “либеральных интеллигентшек”, и стремительно деградирующую монархию Николая II. Ему нравились настоящие революционеры и настоящие реакционеры. В отличие от Вячеслава Иванова и других современников, клявшихся именем Ницше, Брюсов был природным, стихийным ницшеанцем. Как представителю интеллигентского истеблишмента, ему часто приходилось лавировать и скрывать свое подлинное отношение к происходящему. Но едва ли Ходасевич был вправе упрекать его в двурушничестве: собственные политические взгляды Владислава Фелициановича окажутся столь же изменчивыми и противоречивыми.

Впрочем, это потом, а пока, в 1905 году, ему было просто не до политики и не до революции. Период отроческого или юношеского увлечения социализмом в народническом или марксистском изводе был у многих людей этого поколения: у Пастернака и Цветаевой, восхищавшихся лейтенантом Шмидтом, у Мандельштама, выступавшего на эсеровских митингах, даже у Гумилева – под влиянием его друга Бориса Лиганова (будущего большевистского посла в меньшевистской Грузии, а потом директора Эрмитажа) некоторое время занимавшегося марксистской пропагандой. У Ходасевича такого периода, кажется, не было.

⁹⁰ Цит. по: Ашукин Н., Щербаков Р. *Валерий Брюсов*. М., 2006. С. 228 (Серия “ЖЗЛ”).

Мысли его были заняты творчеством, любовью, дружбой. Всего этого было в его тогдашней жизни в избытке.

2

Осенью 1904 года, вскоре после поступления в университет, Владислав удостоился долгожданного приглашения на очередную “среду” к Брюсову. Через кого было передано приглашение? Александр Брюсов сам не больно-то допускался на литературные собрания, проходившие у старшего брата, а Гофман уже был изгнан из рая. Сам Ходасевич описывает свое, если можно так выразиться, посвящение такими словами:

Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

– Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть – восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки. Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С. М. Соловьевым. Больше гостей не было: “среды” клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать – пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в “Пепел”: “За мною грохочущий город”, “Арестанты”, “ Попрошайка”. Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С. М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение “Жду я смерти близ денницы”. Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: “Адам и Ева” и “Орфей – Эвридике”. Потом С. М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покорило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец, произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать “мое”. Я в ужасе отказался⁹¹.

В этот день Ходасевич впервые встретился с Андреем Белым (то есть Борисом Бугаевым) – одним из нескольких крупных писателей, с которыми ему довелось дружить, и дружба с которыми закончилась в итоге разочарованием и разрывом. Спустя три года после смерти Белого и незадолго до собственной смерти Ходасевич писал: “девятнадцать лет судьба нас стлкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал”⁹². В этом женственно-артистичном, безответственном и эгоцентричном человеке он видел как будто воплощение собственного скрытого “я”; и, может быть, именно поэтому он был к Белому

⁹¹ Ходасевич В. *Брюсов*. С. 22–23.

⁹² Ходасевич В. *Андрей Белый* // СС-4. Т. 4. С. 42. Ближайший друг Ходасевича Муни (Самуил Киссин) в 1915 году в письме Владиславу Фелициановичу вспоминал время, когда Белый “был нашим с тобой Ставрогиным”.

строг и беспощаден, повторяя (вслед за многими), что автор “Петербурга” “загубил” данный ему от природы гений. Впрочем, Белый – после разрыва – писал о Ходасевиче вещи совсем уж несправедливые. Но все это потом, много лет спустя. В 1904 году они были в разных “весовых категориях”. Двадцатичетырехлетний сын профессора Николая Бугаева стремительно становился знаменитостью.

Даже если в глубине души у Брюсова и в самом деле сохранялось снисходительное отношение к Белому и Блоку – после выхода “Золота в лазури” (апрель 1904-го) и “Стихов о Прекрасной Даме” (декабрь того же года) ему постепенно пришлось изменить тональность в отношениях с этими поэтами. Но Ходасевичу, восемнадцатилетнему юноше, недавнему гимназисту, в брюсовском кругу предстоял долгий путь почтительного ученичества. Некоторых из сверстников Владислава Фелициановича подобное устраивало – например, Гумилева. Самого Ходасевича – нет.

Для Брюсова и Гумилева поэзия была чем-то вроде рыцарского ордена или ремесленного цеха, в котором у каждого есть своя ступень в иерархии и долг каждого – с почтением относиться к старшим и благосклонно – к младшим. Для Ходасевича мир был также иерархичен, но это была иерархия чувств, мыслей, слов, образов, а не людей. Более того, соблюдение субординации в литературной жизни его раздражало. В случае Брюсова он находит этой литературно-жизненной иерархичности своего рода социологическое объяснение:

...тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унижить другого обуревают счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. “Всяк сверчок знай свой шесток”, “чин чина почитай”: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара⁹³.

Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что, несмотря на продолжавшиеся добрые и даже дружеские отношения с семьей Брюсовых, литературная карьера Ходасевича началась не в “Весах”⁹⁴ и “Северных цветах”, а в изданиях иной, отчасти конкурентной символистской группы.

Инициатором возникновения всех этих изданий был Сергей Алексеевич Соколов, потомственный адвокат, выпускник Московского университета, гласный Московского губернского земства. Но душа его принадлежала поэзии, поэзии новой, “декадентской”. Соколов писал (под псевдонимом Кречетов, обыгрывавшим его “птичью” фамилию) символистские стихи, похожие то на Брюсова, то на Бальмонта. Однако в “Северных цветах” ему места не нашлось. И потому в 1903 году, еще до основания “Весов”, Соколов затеял собственный издательский проект.

Соколов в тот момент не нуждался в спонсорах – в его распоряжении были 40 тысяч от продажи владимирского имения (а было еще и подмосковное имение, приносящее постоянный доход). Альманах и книгоиздательство, основанные честолобивым адвокатом, получили название “Гриф” – еще одна хищная птица (скорее, имелся в виду грифон, который и изображен на эмблеме издательства). Энергичный человек, эффектный собеседник, не чуждый краснобайства и пышной фразы, как и подобает адвокату, Соколов сумел собрать вокруг себя немало литераторов, известных и не очень. Среди участников трех выпусков альманаха, вышедших в 1903–1905 годах, были Брюсов, Бальмонт, Сологуб. Но рядом с ними мы видим и более чем посредственных символистов первого призыва вроде Александра Курсинского или Александра Ланга-Миропольского (Брюсов прятался с ними, но на страницы редакци-

⁹³ Ходасевич В. *Брюсов*. С. 24.

⁹⁴ В “Весах” не было напечатано ни одного стихотворения Ходасевича и лишь одна его рецензия – на сборник стихотворений в прозе рано умершего польского писателя Яна Врочинского (1905. № 5).

руемых им изданий с известного момента не допускал; Ланг, впрочем, немного писал в “Весах” по вопросам спиритизма), и множество “талантливой молодежи”. Причем молодые были очень разного уровня: от Блока, Белого, Волошина до “перекабачившегося” (по выражению Андрея Белого) Александра Рославлева (того самого, чьи эпигонские стихи впоследствии стали поводом для известной статьи Корнея Чуковского “Третий сорт”), или Виктора Стражева, бывшего гимназического учителя Ходасевича, или Ефима Янтарева (Бернштейна), вполне успешного газетного журналиста и микроскопического стихотворца-дилетанта. Свое место на страницах альманаха заняли, конечно, и произведения самого издателя, а также проза его супруги Нины Петровской, сыгравшей важную роль в жизни Брюсова, а косвенно – и Ходасевича.

Некоторые из участников альманаха, малозначительные литературно, были примечательны в человеческом плане. Например, Виктор Лазаревич Поляков, молодой человек из знаменитой семьи банкиров⁹⁵, покончивший с собой в 1906 году, чьи немногочисленные сохранившиеся стихи и эссе свидетельствуют о ранней зрелости – не столько собственно поэтической, сколько интеллектуальной. Или Александр Койранский, один из трех братьев, сыновей еврея-купца, торговца писчебумажным товаром, которые, если верить язвительному перу Андрея Белого, “юркали всюду с несносным софизмом под Брюсова, с явной подделкой под эрудицию Брюсова”⁹⁶. Александр Арнольдович был самым ярким из них. По описанию поэта Бориса Садовского, “маленький, остренький, старообразный <...> Койранский в одно и то же время мыслитель, поэт, живописец, музыкант и театральный рецензент. На всех выставках и первых представлениях можно видеть рыжую бороду и пенсне, слышать отчетливые резкие суждения”⁹⁷. Можно представить себе, что “юркий” и самоуверенный Койранский давал Белому и Садовскому повод для антисемитски окрашенных обобщений. Но если поэтом и прозаиком он был и в самом деле весьма заурядным, то как искусствовед и театровед сделал немало и в России, и, позднее, за границей. Множество выдающихся актеров – от Василия Качалова до Пола Робсона – ценили его мнение и пользовались его советами. Ходасевич пересекался с ним и в Москве (Койранский снимал комнату вместе с Александром Брюсовым), и в эмиграции.

В числе поэтов, чьи стихи появились в альманахах “Грифа”, был и Одинокий – Александр Тиняков, будущий *enfant terrible* Серебряного века, прославившийся своими демонстративно-циническими житейско-литературными выходками и столь же скандальными лирическими излияниями. С этим человеком Ходасевича судьба впоследствии будет сталкивать постоянно. Впрочем, в грифовские дни Тиняков, сын “выбившегося в люди” орловского кулака, никого еще не эпатировал – напротив, изо всех сил старался быть респектабельным, причем в респектабельности своей (в отличие от будущего цинизма) был на редкость неуклюж и зауряден. Ходасевич описывает молодого Тинякова так:

Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. Однако если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. <...>

⁹⁵ Поляковых, банкиров иудейского вероисповедания, не следует путать с Поляковыми – православными текстильщиками, из рода которых происходил хозяин “Весов”.

⁹⁶ Андрей Белый. *Начало века*. С. 230.

⁹⁷ РГАЛИ. Ф. 646. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 12 (цит. по: *Русские писатели, 1800–1917: Биограф. словарь*. М., 1994. Т. 3: К-М. С. 12).

Он был неизменно серьезен и неизменно почителен. <...> Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. Чувствовалось, что собственные стихи нелегко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже⁹⁸.

Писал молодой Тиняков “под Брюсова”. Мэтра он обожал (Ходасевич вспоминает об эпизоде, когда нетрезвый Тиняков узрел в окне “Валерия Яковлевича, идущего по водам”). Но в брюсовской свите и брюсовских изданиях ему места не было. А в “Гриф” – было.

Однако при всей своей – сравнительно с Брюсовым и Сергеем Поляковым – “неразборчивости” Соколов-Кречетов оказался в иных случаях прозорливее своих конкурентов. Десять лет спустя, в 1913 году, он имел право написать в предисловии к юбилейному сборнику издательства: “«Гриф» счастлив сознанием, что он – нередко первым, нередко одним из первых издавал отдельными книгами и печатал в своих Альманахах произведения многих из тех писателей, которые теперь занимают определенное и почетное положение в русской литературе”.

Именно “Гриф” выпустил две, возможно, самые значительные книги русского символизма – “Стихи о Прекрасной Даме” и “Кипарисовый ларец”, в то время как сам Брюсов далеко не сразу понял и оценил и Блока, и Анненского. В некрологе Кречетову Ходасевич поминает это как главную его заслугу. И все же он вынужден признать:

“Гриф” не суждено было стать колыбелью символизма, то есть сделаться центром, из которого развивалось бы новое течение модернизма. Это произошло по причине, которую нетрудно было предвидеть: Сергей Кречетов обладал большими организаторскими способностями, но ни как поэт, ни как теоретик он, разумеется, ни в малейшей степени не мог соперничать с Брюсовым. При самой горячей любви к поэзии, он все-таки был дилетантом⁹⁹.

Отношения между “Грифом” и “Скорпионом”, первоначально мирные, постепенно перешли в стадию открытого соперничества. Особенно оно обострилось после того, как Соколов, чьи “владимирские” деньги, видимо, подошли к концу, начал находить спонсоров (по всем свидетельствам, он был в этом весьма искусен) и основывать – один за другим – новые литературные журналы. В 1905 году он возглавляет литературный отдел эфемерного журнала “Искусство”, издаваемого художником и критиком Николаем Яковлевичем Тароватым. В следующем году Соколов фактически занял место редактора куда более богатого и амбициозного издания, а именно журнала “Золотое руно”, учрежденного магнатом Николаем Павловичем Рябушинским, представителем династии текстильных фабрикантов, живописцем и литератором-дилетантом. Ходасевич так описывает этого колоритного человека в очерке “О меценатах”:

Он чудачил, переходя от “увлечения” к “увлечению”. Тут все было: и путешествия по каким-то экзотическим странам, и постройка фантастических особняков, и лошади, и женщины всех национальностей и цветов, и классическое купание этих женщин в ресторанных аквариумах, и не менее классическое битье посуды, и собирание картин, и все вообще, чему полагается быть в таких случаях. Поражать, изумлять, быть предметом

⁹⁸ Ходасевич В. *Неудачники* // Ходасевич В. *Колеблемый треножник* / Сост. и подгот. текста В. Г. Перельмутера, коммент. Е. М. Бени, под общей ред. Н. А. Богомолова. М., 1991. С. 442–443.

⁹⁹ Ходасевич В. *Памяти Сергея Кречетова* // СС-4. Т. 4. С. 307.

правдивых и неправдивых рассказней было истинной его манией. На худой конец, когда воображение ослабевало, он готов был поражать окружающих, появляясь в костюме с какими-нибудь столь ослепительными крапинками и полосками, что от них начинало рябить в глазах. В случаях совсем уже крайних он отпускал бороду неслыханной красоты и шелковистости, и когда борода, завитая и умощенная благовониями, становилась уже одной из достопримечательностей города, когда уже ею гордились, когда ее чуть ли не показывали иностранцам наряду с Кремлем и Третьяковскою галереей, – он, как истинный Герострат, внезапно сбрасывал ее, к ужасу соотечественников¹⁰⁰.

В отличие от скромного и культурного Сергея Полякова Рябушинский следовал не столько советам друзей-литераторов, сколько собственным представлениям об изящном, отличавшимся порою купеческой аляповатостью и – как сказали бы ныне – налетом “гламурности”. “Золотое руно” многие критиковали, в частности за неуместную полиграфическую роскошь. Но постепенно журнал занял место одного из главных органов русского символизма, потеснив “Весы”.

Правда, это произошло уже без Соколова, который в середине 1906 года порвал с Рябушинским. Ненадолго журнал возглавил Александр Курсинский, протеже Брюсова; при нем “Золотое руно” и “Весы” из конкурентов стали союзниками. Однако вскоре и Курсинский, оскорбленный пренебрежительным отношением Рябушинского, со скандалом ушел из журнала. С его уходом сотрудничество в “Руно” прекратили Брюсов и Белый. При третьем редакторе, Генрихе Тастевене, журнал опирался в основном на петербуржцев – Блока, Вячеслава Иванова, Сологуба, Кузмина.

Тем временем Соколов на средства Владимира Линденбаума, одного из молодых поэтов, “открытых” “Грифом”, подражателя Бальмонта, затеял новый журнал – “Перевал”. Он продолжал линию альманахов “Грифа” (сочетание уже известных и еще молодых авторов, идейная и эстетическая широта, переходящая в эклектизм) и притом – в атмосфере еще не закончившейся революции – щеголял левыми политическими симпатиями. По утверждению Ходасевича, Соколов довольно цинично использовал Линденбаума, пока тот – “славный, но не талантливый юноша” – не истратил полностью родительское наследство¹⁰¹ и не уехал в провинцию. “Перевал” просуществовал всего год, но и он успел сыграть свою роль в истории русского символизма.

Все эти многочисленные издательские затеи, сопровождавшиеся неизбежными сварами и кознями, давали писателям-модернистам, прежде всего молодым, возможность выбора. Ходасевич, который был вхож в дом Соколова с 1902 года, воспользовался им так: как критик он в течение 1905 года (начиная с третьего номера) печатался в “Искусстве”, в первой половине 1906-го – в “Золотом руно”, а затем в “Перевале”. Другими словами, он перемещался вслед за Соколовым – вплоть до разрыва с ним, произошедшего в 1909 году из-за каких-то денежных дел, связанных с переводами для издательства “Брокгауз”. Как поэт, он дебютировал в третьем выпуске “Грифа” (1905), а затем публиковался в “Перевале” и разных случайных изданиях – как символистских (альманах “Корабли”), так и нейтральных (журнал “Образование”). Первая книга Ходасевича “Молодость” (1908) увидела свет именно под грифом “Грифа”.

Из юношеских рецензий Ходасевича наиболее интересны две, посвященные книгам Бальмонта, и еще три отзыва на сборники издательства “Знание”.

Для поколения, к которому принадлежал Ходасевич, имя Бальмонта было окружено ореолом поэтической славы. И пусть к 1905 году бальмонтовская поэзия уже начала терять

¹⁰⁰ Ходасевич В. *О меценатах* // СС-4. Т. 4. С. 330.

¹⁰¹ По собственному свидетельству С. Соколова (письмо В. Ходасевичу от 10 июня 1907 года; РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 22), Линденбаум потратил на “Перевал” 22 тысячи рублей, из которых вернул не более 7 тысяч.

даже те достоинства, которые у нее в самом деле были, – в первую очередь свой капризно-экзотический лиризм, – молодым поклонникам по-прежнему казалось, что мэтр пишет все лучше и лучше: таков был гипноз славы. В рецензии на книгу “Литургия красоты” (Искусство. 1905. № 4–6) Ходасевич так характеризует новые бальмонтовские дерзания:

Здесь нет уже отдельных звуков плача, отрывистых приступов большого отчаяния, нет восхитительной озаренности “восторгов и падений” – и снова печали, и снова грустной задумчивости... <...> Здесь все эти основные мотивы творчества Бальмонта, раньше то приходившие, то вновь удалявшиеся, сливаются в одну изумительную по стройности симфонию...¹⁰²

В письме Александру Брюсову от 26 июня 1905 года Ходасевич признается, что polemизирует в этой рецензии с его старшим братом. В самом деле: Брюсов, рецензируя “Литургию красоты”, отмечает, что “никогда преувеличенно опьяненные гимны Бальмонта и его несколько риторические проклятия не достигнут той художественной красоты, как его грустные признания и тихие жалобы”. Ходасевич отвергает эти попытки “ограничить” любимого поэта. Он все еще восхищается Брюсовым, но Бальмонт как стихийный лирик, соответствующий романтическому стереотипу, для него стоит на первом месте.

Год-другой спустя станет очевидно, что с поэзией Бальмонта происходит “что-то не то”. Книги поэта, написанные по мотивам русского фольклора (“Жар-птица. Свирель славянина”, 1907, и др.), вызвали саркастическую реакцию его прежних “братьев”, прежде всего Брюсова. Валерий Яковлевич вынес суровый и – надо признать – справедливый приговор: Бальмонт “сделал худшее, что можно сделать с народной поэзией: подправил, прикрасил ее согласно с требованиями своего вкуса”¹⁰³, нарядив Илью Муромца и других богатырей в “сюртук декадента”. И именно Ходасевич (под псевдонимом Георгий Р-н) на страницах харьковской газеты “Южный край” (23 декабря 1907) встал на защиту Бальмонта – правда, защита эта очень своеобразна:

Никогда Бальмонт не останавливался на половине пути, и быть не цельным, идти не до конца – было для него самым страшным. <...> Предположим, Валерий Брюсов обратился бы, как Бальмонт, к народному русскому эпосу. Конечно, он решил бы свою задачу чисто литературно, и мы бы получили ряд блестящих подделок, стилизаций, где собственное лицо Брюсова сказало бы в выборе мотивов, в том, что именно более всего привлекло его внимание в подлинном народном творчестве.

Бальмонт поступил иначе. С чисто бальмонтовской внезапностью он решил: народ – солнечность, я – солнечность, народ – как я, и я, как народ, народ и я – величины одного порядка, одного наименования, и соединением, синтезом народного творчества и моего будет простое сложение – плюс. Стал складывать яблоки с апельсинами только потому, что и те и другие – круглые. И вот, пользуясь такой аргументацией и всего более боясь остановок на половине пути, он стал громоздить глыбу на глыбу, обломок на обломок, не сравнивая, не пригоняя друг к другу, а глыбы падали и падали, падая, разбивались, – и Бальмонт уже стоял среди груды камешков, рассыпавшихся вокруг него, – а он все больше неистовствовал, все строил и ронял... После “Злых чар”, где он еще как-то удерживался на ногах, – “Жар-птица”, и Бальмонт почти раздавлен непосильной тяжестью своего труда.

¹⁰² Ходасевич В. [Рец. на:] К. Д. Бальмонт. *Литургия красоты* // СС-2. Т. 2. С. 10.

¹⁰³ Брюсов В. Я. *Новые сборники стихов* // Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. С. 252.

Подвиг Бальмонта не удался, но, совершая его, он снова и снова, в который уже раз, сжег душу; совершая его, обрел опять новый мир, который мы никак не можем постигнуть, не можем вычислить его законов, мир, из которого слова еле долетают до нас...¹⁰⁴

Нетрудно заметить, что еще молодой, но уже не совсем юный Ходасевич (к двадцати одному году ему пришлось кое-что пережить и испытать) по-прежнему верен романтическому взгляду на мир. Способность “идти до конца”, “сжигая душу... в который уже раз” (душа – многоразовая) выше культурного чутья, меры и вкуса. “Лучше стремиться, чем достигать”.

Как и многие молодые поэты своего поколения, Ходасевич был еще не в состоянии верно оценить пропорции того или иного художественного или интеллектуального явления. Восторгаясь Бальмонтом, он строго отозвался о “Книге отражений” Анненского: “Быть может, статьи г. Анненского и были бы интересны лет 10–15 назад, а теперь они кажутся слишком запоздалыми. После незабываемых строк Д. С. Мережковского, например, заметки г. Анненского о Достоевском просто скучны и ненужны”¹⁰⁵.

При всем отвращении Ходасевича к “чинопочитанию” он не может до конца уйти от той негласной табели о рангах, которая существовала в символистской среде и согласно которой Анненский в 1906 году стоял гораздо ниже Бальмонта и Мережковского. Анненский, кажется, в эту табель вообще не входил: в глазах Ходасевича он всего лишь (при этой цитате трудно сдержать улыбку) “приличный человек иного литературного лагеря”; приличный – ибо признает, хоть и с десятилетним опозданием, значительность Бальмонта.

А что происходит, когда разговор касается писателей, в самом деле принадлежащих иному, не модернистскому кругу?

Издательство “Знание” объединяло вокруг себя главным образом прозаиков-реалистов, как крупных (Горький, Бунин, Андреев, Куприн), так и менее значительных. Уровень поэзии в сборниках “Знания” был чрезвычайно низок – за исключением стихов Бунина. В глазах Брюсова и “Весов” реалисты были врагами и только врагами (при том что его вражда с Буниным – тяжелая, пронесенная через всю жизнь взаимная ненависть – возникла на руинах бывшей дружбы, а с Горьким ему пришлось вполне дружественно сотрудничать позднее, в пред- и послереволюционные годы). Но в грифовском кругу к реалистам относились более дружественно. В “Золотом руне” Бунин и Андреев были приглашены к сотрудничеству и приняли приглашение.

Интерес Ходасевича к авторам “Знания” важен потому, что с некоторыми из них его потом связывали тесные литературные отношения и даже дружба. Прежде всего это относится, разумеется, к Горькому.

Вот отзыв Ходасевича о горьковских “Детях солнца”:

Горький раньше знал только отвлеченных людей, если так можно сказать – беспочвенных. Теперь он поселил их на земле. Протасов, Елена, Вагин – ведь это прежние Сатины, такие свободные и могучие вне нашей атмосферы. Но здесь, на земле, темной, тяжелой, всевластной, где взрыхленные поля залиты потом и кровью, где так больно живет на острых, окровавленных ребрах городских камней, они стали бледными, вялыми, хилыми. Не неприспособленность к жизни виновата здесь, но отчужденность от нее. Насмешка в их словах: “Мы – дети солнца”. Горький увидел уже с ясностью, что “человеки”, низведенные на землю, еще слабее “бедных детей земли”, слабее потому, что они лишены всякой способности к активному утверждению

¹⁰⁴ Ходасевич В. *О последних книгах К. Бальмонта* // СС-4. Т. 1. С. 379–380.

¹⁰⁵ Ходасевич В. [Рец. на:] И. Ф. Анненский. *“Книга отражений”*. СПб., 1906 // СС-2. Т. 2. С. 21.

своей личности. Сойдя на землю с новоприбывшими “детьми солнца”, Горький встретил ее аборигенов, живых людей, пусть истомленных, но, как Антей, близких матери-земле – Гее. Эта встреча была для него благотворной. Он полюбил новых знакомцев, полюбил, быть может, за муки, но еще больше за то, что нашел у дряхлых людей земли ту изумительную чуткость душ, которой нет и не было у солнечных младенцев¹⁰⁶.

Легко заметить, что Ходасевич говорит о Горьком с теми же интонациями, что и о Бальмонте. Черта, проходящая между “нашими” (модернистами) и “не нашими” (традиционалистами), для него все же преодолима, он чуток к различным эстетическим впечатлениям. Но, разумеется, его внимание привлекают пока прежде всего модные авторы, кумиры эпохи. Его собственные вкусы еще не сформировались. И все же то, что именно привлекло его в горьковской пьесе, очень показательно: это спор между свободой “солнечных младенцев” и суровой правдой земных “дряхлых” людей.

Среди писателей более молодого поколения “чистых” реалистов почти не было. Те сверстники Ходасевича, которые писали прозу и в творческом отношении следовали за Чеховым, Буниным или Андреевым, охотно вели дружбу с “декадентами”, принимали многие их идеи и старались печататься не только в традиционалистских, но и в символистских изданиях. К числу таких пограничных писателей принадлежал Борис Константинович Зайцев, впоследствии один из наиболее признанных прозаиков предреволюционной России, а потом – эмиграции, один из тех людей, которым суждено было постоянно, на протяжении десятилетий, соприкасаться с обочиной (но только обочиной) жизни Ходасевича. Зайцев снимал квартиру вместе со Стражевым, и они устраивали литературные вечера с участием как “декадентов” (перевальского круга), так и “знаньевцев”¹⁰⁷. По крайней мере в одном из них Ходасевич участвовал в декабре 1906 года. Подробное описание его содержится в воспоминаниях Веры Муромцевой-Буниной, жены Бунина:

Взбежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери. <...>

Доносилось невнятное чтение Вересаева.

Досадно: опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения.

В кабинете хозяина было тесно: сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. <...>

После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос. <...>

Затем вразвалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ “Полковник Розов”. <...>

Началось выступление более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои “песни”. Кречетов пел их громким басом, Муни был едва слышен, Стражев читал как-то презрительно, Ходасевич, самый юный <...> закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием, запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов: “Елкич с шишкой на носу”. Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Ходасевич В. [Рец. на:] *Сб. т<овариществ>ва “Знание” Книга 7* // СС-4. Т. 1. С. 375–376.

¹⁰⁷ Позднее, в 1907 году, Стражев и Зайцев затеяли издание газеты “Литературно-художественная неделя”, со страниц которой бросили вызов “борцам «первого призыва» символизма”. Вышло всего четыре номера, но этого вполне хватило для полномасштабного литературного скандала, участником которого был Андрей Белый.

¹⁰⁸ Муромцева-Бунина В. Н. *Жизнь Бунина. Беседы с памятью*. М., 1989. С. 262.

3

Именно в эти годы, годы начала литературной деятельности, в жизнь Ходасевича вошло несколько человек, которым суждено было сыграть в ней свою роль, более или менее существенную. Трудно сказать, была ли в жизни Владислава Фелициановича “главная” любовь. Но главная дружба была несомненно. Под знаком этой дружбы прошла его юность, память о ней он сохранил до конца дней.

Через десять лет после смерти своего друга, в очерке, позднее вошедшем в “Некрополь”, Ходасевич так напишет о нем: “Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятисот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был *симптомом*, а не *тип*”¹⁰⁹.

“Вся Москва” знала этого тощего, но ширококостного, рослого, массивного молодого человека под именем *Муни*. Это был псевдоним – и литературный, и житейский, восходящий на самом деле не к Сакья-Муни (что естественно предположить в контексте Серебряного века), а к еврейскому уменьшительному имени. Самуил Викторович Киссин родился в октябре 1885 года в Рыбинске в семье купца 2-й гильдии. Как и Владислав Ходасевич, он был младшим ребенком в многодетной семье; как и он, вырос в женском окружении. Но вместо Москвы с ее театром, коронацией, дачными балами – провинциальный Рыбинск. Почтенная мещанская среда безо всяких художественных интересов: ни тебе воспоминаний о Бруни, ни “Пана Тадеуша”. Не костел, а синагога – и все ограничения, связанные с иудейским вероисповеданием в Российской империи. Таким, по всей вероятности, было детство Самуила Киссина.

В Москву Киссин приехал неполных восемнадцати лет учиться – на том же юридическом факультете, что и Ходасевич. Там они и познакомились в конце 1905 года. Возможно, знакомство произошло в университетских аудиториях, в те короткие промежутки, когда там проходили занятия, а возможно, у Брюсова-младшего и Койранского.

“Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною”¹¹⁰.

Киссин жил в мебелирашке вместе с другими студентами. Родители посылали ему 25 рублей в месяц – с голоду не умрешь, но и не разгуляешься. В Москве он сразу же попал в атмосферу “нового искусства”, с одной стороны, революционных треволнений – с другой. Осенью 1905-го Киссин (в отличие от аполитичного Ходасевича) ходит на демонстрации и удостоивается удара казачьей шашкой плашмя, а зимой вместе с Койранским и другими студентами пытается издавать юмористическую, с “красным” оттенком, газетку “Студенческие известия” (вышел всего один номер). Но это было лишь обочиной его жизни. В центре же были литературные впечатления и переживания. Впрочем, в тогдашней Москве “декаданс” (который уже так почти не называли) все еще был не просто литературной школой, а образом жизни, способом мыслить и чувствовать.

Ходасевич так описывает этот опыт – общий для них:

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось

¹⁰⁹ Ходасевич В. *Муни* // СС-4. Т. 4. С. 68. Здесь и далее курсив автора. – В. III.

¹¹⁰ Там же.

двусмысленным и двузначашим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, расплываясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире – и в то же время в каком-то особом туманном и сложном его отражении, где все было “то, да не то”. Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, – мы только томились в темных и смутных предчувствиях. <...>

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало¹¹¹.

Так жили не только Ходасевич и Киссин – то же могли бы сказать о себе десятки, а может быть, и сотни их сверстников. Их переживания были слишком характерны – характерны настолько, что иные из них стали частью гротескного, иронически остранившегося образа эпохи, созданного людьми, которые были лишь несколькими годами моложе и в эту позднесимволистскую эпоху “не успели” – скорее на счастье свое, чем на горе.

Еще одна цитата из очерка “Муни”:

Мы с Муни сидели в ресторане “Прага”, зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубашке и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек – перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись:

– А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение – второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал:

– Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается¹¹².

А вот цитата из рецензии Мандельштама на “Записки чудака” Андрея Белого: «...славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресто-

¹¹¹ Ходасевич В. *Муни*. С. 69–70.

¹¹² Там же. С. 70–71.

рана “Прага”, воспринимался как мистическое явление, двойник, и порядочный литератор стеснялся лечь спать, не накопив за день пяти или шести “ужасиков”»¹¹³.

Создается впечатление, что Мандельштам пародирует рассказ Ходасевича, выворачивая его наизнанку: странная парочка половых-двойников на самом деле оказывается одним и тем же человеком, отраженным в зеркале, а мистический шок свидетелей – лишь проявлением их неадекватности. Но текст Мандельштама написан тремя годами раньше! И это означает одно из двух: либо объект пародии – слышанный Мандельштамом устный рассказ Владислава Фелициановича, либо в ресторане “Прага” в 1900-е годы подобные потрясения переживали многие. Возможно, там и в самом деле были незаметные на вид зеркала. А может быть (и скорее всего), половых специально учили стоять и двигаться симметрично.

Молодой Киссин, как и молодой Ходасевич, не был уникален в своих переживаниях. И – в отличие от Ходасевича – он, скорее всего, не обладал уникальным поэтическим даром. По крайней мере, к тридцати годам Муни оставался автором второго или даже третьего ряда. Живые и яркие строки у него есть, но в том поколении такие строки были у очень многих, даже у Александра Брюсова, если уж на то пошло. Стихи Муни кажутся “тенью” стихов раннего Ходасевича: очень близкие настроения, образы, интонация; всё – в заметно ослабленном, недоволенном виде, но притом с большим надрывом, с более внятным ощущением внутреннего неблагополучия. Одно из самых удачных его стихотворений обрело новую жизнь благодаря Ходасевичу, который в 1930-е годы использовал его заключительные строки в своем рассказе-мистификации, приписав их вымышленному поэту начала XIX века Василию Травникову:

Шмелей медовый голос
Гудит, гудит в полях.
О сердце! Ты боролось.
Теперь ты спелый колос.
Зовет тебя земля.

Вдоль по дороге пыльной
Крутится зыбкий прах.
О сердце, колос пыльный,
К земле, костями обильной,
Ты клонишься, дремля.

Это был последний скрытый привет давно ушедшему другу юности.

Чем же замечателен Муни, почему именно он, а не Брюсов-младший, не Малицкий, не Ярхо стал ближайшим к Ходасевичу человеком на целое десятилетие, почему память о нем преследовала поэта до самого конца? Интуитивно это понятно, а словами высказывается с трудом. Значительность Самуила Киссина, может быть, в первую очередь проявлялась в его беспощадном саркастическом юморе, направленном на всю реальность, на все мироздание в целом – мироздание, в котором он не находил себе места, в котором видел лишь “докучную смену однообразных и грубых снов”. Именно в этом всеразрушающем сарказме он теоретически мог бы найти себя как писатель. Маленькая пьеса “Месть негра”, предвещающая театр абсурда, – едва ли не самое интересное произведение в его небольшом наследии. Каким-то образом в этом ощущении собственной жизненной “недоволенности” (“Меня, в сущности, нет, как ты знаешь”, – говорил он Владиславу) и порожденном им мрачно-насмешливом неприятии мира сказывалось и еврейское отщепенчество Киссина. И все это оказывало силь-

¹¹³ Мандельштам О. *Сочинения*: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 292.

нейшее влияние на Ходасевича. Киссин в их дружбе, похоже, первенствовал, во всяком случае, до поры. А дружба была в иные дни неразлучной:

Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще – просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамёка, другие не понимали нас вовсе – и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке¹¹⁴.

¹¹⁴ Ходасевич В. *Муни*. С. 74.

4

Чуть раньше началась другая молодая дружба, которую Ходасевич впоследствии упомянул очерком в “Некрополе”. Это была дружба с женщиной – Ниной Ивановной Петровской, женой Сергея Кречетова. Если с Киссиным Ходасевича сближали во многом (и, может быть, в первую очередь) общие литературные искания, то основа его отношений с Петровской была иной, хотя и та была писательницей и в письмах Ходасевичу время от времени касалась творческих вопросов. И если “нескончаемые беседы” с Муни уводили его из профанной посюсторонней реальности в мир, пропитанный туманными символами и странными соответствиями, то общаясь с Ниной Ивановной, он, скорее, погружался в мучительный и безвыходный лабиринт чужих человеческих отношений, против своей воли оказываясь в роли свидетеля, соучастника и судьи.

Ходасевич познакомился с Петровской, как и с ее мужем, в 1902 году через Гофмана. Собственно, Петровская и была причиной брюсовской опалы, постигшей “ликтора”. Войдя в круг хозяина “Трифа”, он постепенно стал приятелем и конфидентом его жены. Ходасевич оказался непосредственным свидетелем двух роковых романов Нины – с Андреем Белым и с Брюсовым, романов, оставивших заметный след в литературе (еще один роман, с Бальмонтом, имел место чуть раньше).

Отношения Белого и Нины Петровской начинались как экзальтированно-одухотворенная дружба, довольно быстро перешедшая, однако, в нечто другое. Сам молодой писатель так характеризовал ситуацию в своем дневнике:

Вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того – я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви я к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, произошедшее между нами, есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Петровской я рассматриваю как падение... Я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами – Христос; и она – соглашалась; и – потом, вдруг – “такое”¹¹⁵.

Этот монолог настолько “внутри эпохи”, что шаг в сторону – и серьезнейшие чувства начинают выглядеть забавно. Так уже в 1920-е годы символистские “ужасики” и мистические радения смешили Мандельштама, а уж он-то смотрел на них с очень небольшого расстояния. Но это еще и очень в духе Андрея Белого, чьи отношения с противоположным полом Ходасевич описывает так:

...он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед “падением” ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили¹¹⁶.

¹¹⁵ Цит. по: Демин В. *Андрей Белый*. М., 2007. С. 74 (Серия “ЖЗЛ”).

¹¹⁶ Ходасевич В. *Андрей Белый*. С. 46–47.

Отношениями с Петровской вдохновлено стихотворение Белого “Преданье”, посвященное... ее мужу и начинавшееся словами: “Он был пророк. Она – сибилла в храме”. Пророк и сибилла достигли берегов Стикса – вслед за чем *он* поплыл по его волнам на челне (в не очень ясном направлении), а *она* “состарилась одна” “под сенью храма”. И вот прошли века, и, наконец,

Забыв алтарь. И заплетен
Уж виноградом дикий мрамор.
И вот навеки иссечен
Старинный лозунг “Sanctus amor”.

Это написано в 1903 году. Спустя четыре года вышла книга рассказов Петровской, названная именно так – “Sanctus amor”.

В реальности “пророк” после своего “падения” спешно уехал в Петербург, где вернулся к своим жреческим обязанностям у алтаря Прекрасной Дамы, предвестницы Жены, облаченной в Солнце, – то есть, разумеется, Любви Дмитриевны Менделеевой-Блок, несчастной молодой женщины, решительно ничем, включая внешний облик, не соответствовавшей навязанной ей роли. Это “жречество”, как известно, тоже едва не закончилось “падением”.

Что же до Нины Ивановны, то к ней, по словам Ходасевича, “ходили ... шепелявые, колченогие мистики, – укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны»”¹¹⁷. Именно это – по крайней мере, на взгляд Владислава Фелициановича – и спровоцировало интерес к ней Брюсова. Респектабельного буржуазного литератора, принявшего на себя функции “черного мага”, привлек “демонический ореол” соперницы Прекрасной Дамы... а она хотела отомстить Белому. Ходасевич был не только свидетелем, но и невольным участником некоторых эпизодов этой мести:

В начале 1906 года, когда начиналось “Золотое руно”, однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

– Борис Николаевич, я прочту подражание вам¹¹⁸.

Брюсов прочитал язвительную пародию на “Преданье”, сюжет которого он перелицевал. “Сибилла”, не дождавшись бросившего ее “пророка”, делит ложе с “верховным жрецом” (намек на самого Брюсова).

Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

– Похоже на вас, Борис Николаевич?

¹¹⁷ Ходасевич В. *Конец Ренаты*. С. 13.

¹¹⁸ Ходасевич В. *Андрей Белый*. С. 47.

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю Брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

– Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

– Тем хуже для вас!¹¹⁹

Так или иначе, именно Брюсову, а не Белому, суждено было стать главной любовью Нининой жизни. И в его судьбе Петровской также довелось сыграть роковую роль. Именно Брюсова она отчаянно пыталась вернуть, когда в их отношениях наметилась явственная трещина. Именно ему мстила, заводя жалкие романы со случайными людьми, “прохожими”. Одним из этих “прохожих” был писатель Сергей Ауслендер, племянник и литературный протеже Михаила Кузмина, которому Нина – опять-таки назло Брюсову! – посвятила свою единственную книгу. Именно в него стреляла в упор из браунинга – на лекции Андрея Белого! – 14 апреля 1907 года. Именно его она, сама морфинистка, заразила этим пороком, отчасти – со злости, отчасти – чтобы удержать рядом с собой. И именно о нем она с нежностью (“всё простив”) вспоминала в последние годы своей беспримерно несчастной и нелепой жизни.

Но пока Нина не “простила”, Ходасевич был на ее стороне. “Знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе”¹²⁰, – эти слова, конечно, несут отблеск все той же истеричной экзальтации, которой Нина заражала всех общавшихся с ней, но какую-то реальность они отражают. Правда, это не мешало ему временами отпускать в адрес Нины и ее знаменитого любовника довольно язвительные остроты (а уж чем-чем, а остроумием, не всегда добрым, Ходасевич был славен всю жизнь). Так, как будто именно с его легкой руки после появления знаменитого стихотворения Брюсова “Антоний” (1905), заканчивающегося звучными строками:

О, дай мне тот же жребий вынуть
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой двинуть
Вслед за египетской кормой! –

“египетской кормой” (именно так, а не, скажем, Клеопатрой) “декаденты” стали за глаза называть Нину Ивановну.

Даже в самые горячие символистские годы Ходасевич умел видеть оборотную, смешную сторону серьезных чувств и происшествий. И все же привязанность к Нине в сочетании с бунтом против авторитарного Брюсова делала его уже в это время свидетелем небеспристрастным. С годами Нина вызывала у Ходасевича все большую жалость, а Брюсов – все большее раздражение. Поэтому то, что написано об этой истории в “Некрополе”, нуждается в корректровке.

Есть ведь и версия самого Брюсова. В этом качестве можно рассматривать его исторический роман “Огненный ангел” (1907), в героях которого – прекрасной, но полубезумной, охваченной видениями Ренате, ландскнехте Рупрехте и графе Генрихе фон Оттергейме – легко угадываются Нина, Брюсов и Андрей Белый. В контексте Германии XVI века герои кажутся привлекательнее и благороднее, чем в декадентской Москве, да и логика их действий более внятна. Но и реальные свидетельства своих отношений с Петровской – а именно любовную

¹¹⁹ Там же. С. 47–48.

¹²⁰ Цит. по: Валерий Брюсов, Нина Петровская. *Переписка: 1904–1913* / Вступ. статьи, подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М., 2004. С. 23.

переписку – Валерий Яковлевич пожелал сохранить для потомков (вопреки воле Нины). По распоряжению Брюсова письма должны были увидеть свет через десять лет после смерти того из корреспондентов, кто умрет позже; на деле им пришлось ждать обнародования семьдесят шесть лет. Если Брюсов рассчитывал, что эти письма станут для него “оправдательным документом”, он был отчасти прав. И Рупрехт в романе, и автор “Огненного ангела” в письмах (и в мемуарах Петровской) выглядят куда человечнее, чем в “Некрополе” и брюсовских стихах. С Ниной несгибаемый Валерий позволял себе быть “маленьким”, слабым. Его поступки уместно в данном случае оценивать не по той мистической шкале, которой мерили мир символисты, а по простой, житейской.

А с житейской точки зрения вся коллизия выглядит иначе. В итоге это была связь жена-того мужчины и замужней женщины без всяких взаимных обязательств. Да и какими могли быть эти обязательства со стороны Брюсова? В книге Петровской среди вялых и абстрактных рассказов о роковых страстях есть одно по-настоящему интересное место, где ее героиня, которой предложили руку и сердце, расписывает своему возлюбленному их будущую безотрадную жизнь в браке: “У нас несколько больших комнат и общая спальня. Ночью, привыкшие друг к другу, мы раздеваемся равнодушно и бесстыдно”¹²¹. Дальше – рождение детей, взаимное отчуждение, измены. Это – в разгар романа с Валерием. Но и почти двадцать лет спустя, именно в связи с Брюсовым, она напишет: “Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассвете усталого, сонного, чужого. Этот терновый венок приходится на долю жен поэтов”¹²². Что же мог предложить ей Валерий Яковлевич – не этот же “терновый венок”? Пожалуй, если и была в этой истории невинная жертва, то это – преданная и всепрощающая жена Брюсова Иоанна (или Жанна, как называл ее Валерий Яковлевич) Матвеевна. Но и ее участь, в конце концов, стала возбуждать в Нине Ивановне зависть: “Ах, Валерий, да разве при долгих многолетних связях говорят о своих переменах друг к другу! Нет, они, любя страстно, потом *вместе и одновременно* меняются. Их чувства вступают в иные фазы, может быть, не менее прекрасные, чем пережитые. Так любили друг друга мои отец и мать. И так любишь ты свою жену. Ведь не влюблен же ты после 15-и лет брака? Нет, ты не влюблен – *а любишь*”¹²³. Это написано уже в 1913 году, когда Нина Петровская, после многих несчастий (и перед несчастиями новыми) готова была отречься от того идеала мгновенной испепеляющей страсти, который вдохновлял ее в молодости.

Ходасевич связывал судьбу Нины с общими настроениями эпохи и видел в ней (как и в Гофмане, и в Муни) жертву символистского проекта “жизнестроительства”:

Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме “саморазвития”. <...> От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разreshалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все “переживания” почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их

¹²¹ Петровская Н. *Sanctus Amor*. М.: Гриф, 1908. С. 67.

¹²² *Жизнь и смерть Нины Петровской* / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее. Париж, 1989. № 8. С. 60.

¹²³ Цит. по: Валерий Брюсов, Нина Петровская. *Переписка: 1904–1913*. С. 635–636.

последовательности и целесообразности. “Личность” становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, – “миги”, по выражению Брюсова: “Берем мы миги, их губя”¹²⁴.

Но если личность Муни в самом деле очень тесно связана с контекстом эпохи и вне этого контекста плохо поддается пониманию, то Петровская кажется фигурой более простой и универсальной. Женщины такого типа – неизменный атрибут литературно-художественной среды во все времена. Другое дело, что в 1900-е годы их характерные черты проявлялись ярче, чем, к примеру, в 1920-е. Замечательную, яркую, хотя и пристрастную характеристику дал Нине Ивановне один из ее бывших любовников – Андрей Белый:

Она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру. Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному confidentу слова всех предшествующих confidentов. Она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали перессоренные ею друзья, ставшие врагами. С ней годами возились, ее спасая: я, Брюсов, сколько прочие: Батюшков, Соловьев, Эллис, Петровский, Ходасевич, Муни, газетный деятель Я –¹²⁵; бедная, бедная, – ее спасти уже нельзя было; не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр¹²⁶.

Уж спасали “Ренату” Брюсов с Белым, или губили, или спасали, сперва погубив, – не так важно. Она вполне успешно губила себя сама.

Возможно, как раз в общении с Ходасевичем Нина в меньшей степени проявляла патологические черты своей личности. В письмах к нему много томного самолюбования, кокетства, выпренности, истеричности – но все же не безумия. Вот характерный образец: “Целые дни дичаю и молчу. «По вечерам, по вечерам» приходят иногда люди, но я радуюсь только *Одному*. У меня душа трижды верная. С теми, другими, приходится говорить на иностранном языке. Трудно, утомительно и скучно. Мне все попадают не те души, которых я жду. Есть *весенние*, я их нюхаю, как те цветочки на тоненьких ножках <...> И много других душ есть на свете, но меня не тешат контрасты, я ищу подобия. У нас с Вами есть какое-то печальное сходство” (письмо от 11 мая 1907)¹²⁷.

В простоте, без томной экзальтации Нина Петровская не могла сказать ни слова. Даже передавая привет родителям корреспондента, она прибавляла: “Старость чту, как юность!” Но Ходасевич, уж конечно, не так много значил для Нины, чтобы стрелять в него из браунинга. Для нее он был одним из окружающих ее “пажей”, “мальчиков”, может быть, более верным и заботливым, чем остальные. При этом он время от времени оказывался жертвой приступов ее безумного раздражения, резких перемен настроения. “Владька” в письмах к общим знакомым

¹²⁴ Ходасевич В. *Конец Ренаты*. С. 10.

¹²⁵ Ефим Янтарев.

¹²⁶ Белый А. *Начало века*. С. 305.

¹²⁷ Из переписки Н. И. Петровской / Публ. Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой // *Минувшее*. М.; СПб., 1993. № 14. С. 377–378.

именовался “предателем”, “хамом” “несчастной, нищей и отвратительной душой”¹²⁸, “отвратительной накипью литературы и жизни”¹²⁹. А через какое-то время нежно-дружеская переписка с ним как ни в чем не бывало возобновлялась.

В период “Золотого руна” и “Перевала” Ходасевич, Муни, Андрей Белый и Нина Петровская были постоянными спутниками в скитаниях по московским бульварам и кофейням. Белый так описывает эти прогулки:

Муни, клокастый, с густыми бровями, отчаянно впяливал широкополую шляпу, ломая поля, и запахивался в черный плащ, обвисающий, точно с коня гробовая попона, с громадной трубкой в зубах, с крючковой палкой, способной и камень разбить, пята вверх бородищу, нас вел на бульвар, как пастух свое стадо; порою он сметывал шляпу, став, как пораженный громами небесными; и, угрожая рукой небесам, он под небо бросал свои мрачные истины; все проходящие – вздрагивали, когда он извещал, например, что висящее небо над нами есть бездна, подобная гробу; в ней жизнь невозможна; просил он стихии скорей занавесить ее облаками и нас облить ливнем (прохожие радовались: ясен день)¹³⁰.

Сам же молодой Ходасевич в описании Белого выглядел так: “Жалкий, зеленый”¹³¹, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; вздев пенсне, расчесавши пробориком черные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял нас умением кусать и себя и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпионика”¹³². Ангелоподобный голубоглазый Белый, мрачный еврейский пророк в широкополой шляпе и черном плаще, “одержимая” женщина и зеленый “скорпионик”, похожий на вставшего из склепа мертвеца, – ну и компания!

Последующие события жизни Нины были таковы: в 1907 году ее брак с Соколовым был официально расторгнут. Измены супруги особо не волновали Грифа, они мирно, “как друзья”, жили в одной квартире, но потом Сергей Алексеевич влюбился в актрису Лидию Рындицу (однофамилицу первой жены Ходасевича) и пожелал с ней обвенчаться. Дальше – пьянство, морфий, чахотка. В 1911 году Брюсов, после прощальной поездки в Лифляндию, которой Нина добивалась из последних сил, отправляет свою любовницу в Италию – лечиться. На вокзале ее провожают двое: Брюсов и Ходасевич. После отправления поезда между мужчинами состоялся серьезный и искренний разговор; по собственному признанию, Ходасевич “многое понял” и стал относиться к Брюсову теплее – что не помешало ему годы спустя в “Некрополе” с гротескными, отдающими Достоевским подробностями описать этот день.

Дальнейшее было еще ужаснее. Нина так и осталась в Италии – без друзей и без средств: “Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степней падения”¹³³.

В 1922 году несчастная женщина переехала в Берлин, ставший главным центром русской эмиграции. Оттуда пять лет спустя – в Париж. Жалкими заработками и подачками знакомых она содержала не только себя, но и сестру-калеку Надю. После ее смерти она покончила с собой. В последние годы жизни ей не раз приходилось снова встречаться с Ходасевичем.

¹²⁸ Цит. по: Киссин С. *Легкое время: Стихи, проза, переписка с В. Ходасевичем*. М., 1999. С. 289.

¹²⁹ Из переписки Н. И. Петровской. С. 376–377.

¹³⁰ Белый А. *Между двух революций*. М., 1990. С. 222.

¹³¹ “Мой зеленый друг” – так называет Ходасевича Петровская в письмах.

¹³² Белый А. *Между двух революций*. С. 222.

¹³³ Ходасевич В. *Конец Ренаты*. С. 16.

Уже незадолго до своего конца в письме к одной из знакомых она призналась в страшной тайне: в молодости она получила вполне денежную, но чрезвычайно прозаическую профессию – зубного врача. Вернуться к этому занятию роковая женщина символистской Москвы уже не могла бы, но освоить ремесло зубного техника... Увы, и это, видимо, было недостижимой мечтой: Петровская давно стала тяжелой алкоголичкой и наркоманкой.

Одна эта история многое говорит о психологии людей 1900-х.

5

В то время, когда Ходасевич был свидетелем чужих страстей, в его собственной жизни происходили события драматические – и во многом определившие его дальнейшую судьбу. Причем об этих событиях мы знаем несравнимо меньше, чем о любовном треугольнике Брюсов – Белый – Петровская.

Факты таковы: в 1904 году восемнадцатилетний Владислав Ходасевич познакомился с семнадцатилетней Мариной Рындиной, девушкой из знатной (род поминается с XVI века) и богатой семьи. Зимой этого года он живет в имении ее дяди И. А. Торлецкого – Лидино, Новгородской губернии. Лидино (Заимка) прежде принадлежало Федору Матюшкину – моряку, лицейскому товарищу Пушкина. С этим фактом были связаны местные легенды:

Был в Лидине кабинет, обставленный старинной мебелью красного дерева, снятой Матюшкиным с какого-то корабля. Был даже огромный буфет, в котором посуда не ставилась, а особым образом подвешивалась – на случай качки. Само собой разумеется, легенда гласила, что Пушкин часто гостил в Лидине у Матюшкина, особенно любил сидеть вот тут, на этом кресле, и т. д. Одна беда: именье-то Матюшкину принадлежало, но не только Пушкин, а и сам владелец почему-то никогда в нем не жил¹³⁴.

17 апреля 1905 года совсем юные (и по нынешним, и по тогдашним меркам) жених и невеста вступили в законный брак.

Документы, относящиеся к первой женитьбе Ходасевича, содержатся в студенческом деле поэта¹³⁵. Кроме обязательного для всех брачующихся студентов свидетельства о политической и нравственной благонадежности невесты, требовалось согласие родителей: ведь молодые были несовершеннолетними. Требовалось также, чтобы кто-то из родственников дал обязательство финансово содержать студента до окончания курса. Такое обязательство в отношении Владислава дал его старший брат Михаил Фелицианович.

Из этих документов мы узнаем один немаловажный факт биографии Марины. Она везде именуется *усыновленной* дочерью полковника Эраста Ивановича Рындина. Мать нигде не упоминается. Однако законы об усыновлении, действовавшие в Российской империи, были противоречивы. Усыновленный получал фамилию усыновителя, но автоматически не наследовал ни званий, ни титула, ни имущества, и факт усыновления поминался во всех документах. Трудно сказать, какова была история Марины: может быть, Эраст Иванович и его жена усыновили сироту, а затем супруга Рындина умерла и подросшая девочка осталась одна с отцом; а может быть, полковник пожелал дать свою фамилию падчерице – до или после смерти ее матери; или воспользовался институтом усыновления, чтобы обеспечить положение своей внебрачной дочери. Так или иначе, не вполне обычное общественное положение – в сочетании с огромным состоянием – могло оказать влияние на характер девушки.

Свадьба была пышной. Венчание проходило в церкви Румянцевского музея. Посаженным отцом жениха был Брюсов, шафером – Соколов. Таким образом, оба символистских издательства объединились на свадебной церемонии молодого поэта. Жених не упустил случая сослаться по поводу двусмысленных отношений между участниками венчания:

Венчал Валерий Владислава, –
И Грифу слава дорога.

¹³⁴ Ходасевич В. *Обывательский Пушкин* // Возрождение. 1927. № 734. 6 июля.

¹³⁵ РГИА. Ф. 418. Оп. 318. Д. 1279. Л. 23–25.

Но Владиславу – только слава,
А Грифу – слава и рога.

Эпиграмму эту сообщила потомкам Мариэтта Шагинян, приятельница Ходасевича в конце 1900-х, молодая поэтесса, впоследствии – правоверная соцреалистка, автор книг о семье Ульяновых¹³⁶.

Самая пространная характеристика Марины Ходасевич принадлежит второй жене поэта, Анне Ивановне, и, разумеется, основана на его собственных рассказах:

Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая причудница. Одна из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. Владя рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное близ станции Бологое, она взяла с собой в купе следующих животных: собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая. Уж вообще был ручной, и Марина часто надевала его на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю ложу и, конечно, наделал переполох, тем более что его приняли за змею. Владе из-за этого пришлось пережить неприятный момент. Еще он рассказывал о таком случае: они летом жили в имении Марины. Она любила рано вставать и в одной рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда Владя сидел с книгой в комнате, выходящей на открытую террасу, раздался чудовищный топот, и в комнату Марина ввела свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив бабки, всходя на несколько ступеней лестницы террасы¹³⁷.

Все остальные отзывы о Марине Эрастовне тоже сводятся к простой формуле – “эксцентричная красавица”. “Бегают по аллеям, за ней б собак; пар из ушей, юбки на голову, щеки как самый свежий огурчик”¹³⁸, – так полушутя описывает времяпрепровождение Чижики (как она ее называла) Нина Петровская. Еще известно, что она увлекалась пением, разучивала оперные арии.

В самом начале 1905 года Ходасевич написал стихотворение, посвященное “Мариночке”. Это очень слабенький, юношеский опыт, мало что говорящий об авторе, но кое-что важное – о лирической героине:

Я стройна и красива. Ты знаешь?
Как люблю я себя целовать!
Как люблю я, когда ты ласкаешь,
Обольщаться собой и мечтать! <...>

Милый, милый! Как странно красиво...
Я в свою красоту влюблена!
Я люблю тебя много, но лживо:
От себя, от себя я пьяна!

¹³⁶ Шагинян М. *Собрание сочинений*: В 9 т. М., 1986. Т. 1. С. 251; впервые: Новый мир. 1973. № 4.

¹³⁷ Ходасевич А. И. *Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче*. С. 393.

¹³⁸ *Из переписки Н. И. Петровской*. С. 373.

Существует известный портрет Марины, выполненный несколько лет спустя Александром Головиным. Вскоре после свадьбы с Владиславом портрет Марины нарисовала углем одиннадцатилетняя Валентина; это была первая работа впоследствии знаменитой художницы. К сожалению, она не сохранилась.

В общем, нетрудно представить себе эту девушку – красивую, обаятельную, богатую, избалованную, самовлюбленную, взбалмошную. И судя по всему, довольно пустую. Но что же привлекло ее в болезненном тощем очкарике? Умение танцевать? Умение говорить? Остроумие? В любом случае этот брак не мог быть прочным.

По-видимому, Владислав уже в первые месяцы чувствовал себя не совсем уютно – и в Москве, и в Лидино. Причем дело было не только в отношениях новобрачных: юноша, вероятно, тяготился материальной зависимостью от богатых родственников жены и пытался обзавестись собственными средствами. 4 мая 1905 года он пишет Георгию Малицкому: “Прости, что напоминаю, – но понуждает к тому необходимость: пришли сто. Здесь ни один мерзавец мне не платит. Если можешь, вышли тотчас. *Очень* прошу”¹³⁹. “Платить” Владиславу в Лидино могли только карточные выигрыши, и, возможно, именно из-за склонности к игре родственники скупой выдавали ему деньги на руки.

Весной 1906-го Ходасевич, по всей вероятности, “самовольно” снял для себя и Марины квартиру у некоего Коробкова (возможно, знакомого Кречетова). Чтобы получить возможность платить за это жилье и вообще обрести какую-то независимость, он попытался добиться места секретаря в “Золотом руне”. Кречетов в письме от 17 мая высказывает свое горячее одобрение этой мысли (“иметь около себя, среди подводных скал «Руна», дружественную душу, которая не обманет и не продаст – удовольствие высокой марки”), но признается, что Рябушинского кандидатура Ходасевича в восторг не привела: “Он приводит тот довод, что Вы не знаете французского языка настолько, чтобы (как это иногда делает Курсинский) писать ему разные деловые письма. Далее он выставил второй аргумент, что он «вообще привык всегда командовать служащими». <...> Были даже возражения, что Вы будете отрываемы от работы частыми приходами Марины”¹⁴⁰. Ничего из этих планов, конечно, выйти не могло, тем более что сам Кречетов вскорости с Рябушинским порвал.

Не найдя работы, Ходасевич попытался заплатить за квартиру векселем, Коробков же требовал наличных. В итоге Ходасевич по совету Кречетова съехал с квартиры, ничего не заплатив. Позднее Владиславу все же удалось на некоторое время устроиться секретарем в “Перевал” с окладом 30 рублей в месяц, и он снова попробовал снять собственное жилье – в доме Голицына в Ново-Никольском переулке. Но 28 апреля 1907 года он почему-то покинул и эту квартиру, не внося всей платы. Летом квартирный хозяин пытался разыскать беспутного студента через университетскую канцелярию. По какой-то причине ему ответили, что Ходасевич может находиться в Рязани. На самом деле он был в Лидино, а потом в Петербурге. К этому времени сюжет, связанный с Мариной Рындиной, уже близился к развязке.

Развязка началась ровно через два года после свадьбы. В начале апреля 1907 года в Литературно-художественном кружке (том самом, где Ходасевич “контрабандой” слушал в 1903-м лекцию Брюсова) состоялся большой поэтический вечер с участием петербуржцев. По словам Веры Буниной, из московских поэтов ей запомнились Брюсов, Ходасевич, Кречетов, а из петербургских – во всем черном элегантный Маковский, еще совсем молодой человек.

Сергей Константинович Маковский был не так уж молод – старше самой Веры. Сын известного салонного портретиста и племянник не менее известного передвижника-жанриста (оба воплощали для нового поколения плоскость и безвкусицу 1870–1890-х годов), Маковский-младший писал стихи в “парнасском” духе, а больше был известен как художественный

¹³⁹ РГБ. Ф. 697. Карт. 4. Ед. 18. Л. 7.

¹⁴⁰ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82.

критик. Он был человек не совсем из того теста, что поэты-символисты его поколения, московские и петербургские: не мистик, не неврастеник, а эстет, представитель “стильного” и духовно благополучного варианта модернизма. Такие люди дождались своего звездного часа накануне Первой мировой, и Маковский, *Papa Maso*, именно в это время стал редактором лучшего литературно-художественного журнала России.

Вероятно, именно на вечере в Литературно-художественном кружке и произошло его знакомство с Мариной. В конце месяца Маковский – еще (или снова) в Москве. 7 июля Ходасевич пишет Малицкому: “У нас все лето масса народу. Только послушай. На Пасхе был мой брат (Конст<антин>) и Сергей Маковский, затем от 19 мая до 20 июня Борис Койранский. За это время у нас перебивали: одна Маринина знакомая, почти месяц, 2-й раз Маковский, дней 5, Нина Ив<ановна Петровская>, дней 5, и Гриф, 2 дня. Около 15 июня приехал Муня, который еще у нас, а вчера объявился А. Брюсов, до среды. Кроме того, сегодня или завтра придет Нина Ив<ановна> дней на 7”. Православная Пасха в 1907 году приходилась на 22 апреля (католическая – на 18 марта, но речь явно не о ней).

Судя по всему, события развивались достаточно быстро. С Малицким Владислав был, видимо, уже не так близок, чтобы говорить о болезненных и драматичных вещах. Маковский поминается в общем ряду гостей, посещавших усадьбу. Но вот фрагмент письма Нины Петровской, написанного в тот же день (7 июля): “Что Мариночка? Не обойдутся ли эти дела мирно или необходимо разрушение? Напишите, расскажите мне, я ведь Вас люблю и всякие правды понимаю. Только помните одно – никогда не нужно подвешивать себя на волосе над неизвестностью”¹⁴¹. Месяцем раньше пылкая Нина, возможно, уже чувствуя, что в семье ее молодого приятеля не все ладно и, скорее всего, примеряя Ходасевича на роль очередного “прохожего”, приглашала его совершить совместную поездку “к морю”.

Владислав и Нине не стал изливать душу. 11 июля Петровская пишет: “Из Вашего тона, из Вашей «молодой бодрости», с которой Вы говорите о книге, о стихах и прочем, заключаю, – может, делишки Ваши и не так уж плохи. То есть они плохи-то плохи, да Вы тверже”¹⁴². Но твердости хватает ненадолго. В августе Владислав бросает Лидино и уезжает, сперва в Рославль. Там жил один из его добрых московских приятелей, Владимир Оттонович Нилендер, в те годы – “вечный студент” Московского университета, занимавшийся главным образом теософией, позднее – известный переводчик Эсхила и Софокла (в марте того же года Ходасевич уже некоторое время гостил у него). Всерьез обсуждается возможность остаться в этом маленьком городке и устроиться преподавателем русского языка и истории в местной гимназии (место предложил Владиславу отец Нилендера).

Но в конце концов поэт отправился в Петербург, где “ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал”. Неожиданно судьба свела его с московскими друзьями, которых тоже привели в столицу превратности любви: Нина Петровская приехала к Ауслендеру (“Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву – она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера – признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин”¹⁴³), Андрей Белый – чтобы еще и еще раз объясниться с Любовью Дмитриевной.

Один из тогдашних петербургских дней подробно описан в “Некрополе”, в очерке об Андрее Белом. Это описание стоит привести полностью:

Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был “Изумруд”), я вышел на Невский. Возле Публичной библиотеки пристала ко мне уличная

¹⁴¹ Из переписки Н. И. Петровской. С. 385.

¹⁴² Из переписки Н. И. Петровской. С. 388.

¹⁴³ Ходасевич В. Андрей Белый. С. 50.

женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

– Меня все зовут бедная Нина. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, шупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяваться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей “провокации” в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно “совсем петербургское место”, как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы – вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в “совсем петербургском месте” до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в “Вене” с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

– Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

– Меня надо звать бедная Нина.

Мы с Белым переглянулись – о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед – в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в “совсем петербургском месте”. Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов “Петербурга”¹⁴⁴.

В те недели, когда Владислав по-детски прятался от судьбы в Петербурге, его соперник, наоборот, приехал из Петербурга в Москву. Когда в конце октября Ходасевич и Белый наконец двинулись в Москву, все было решено. Пребывание “на волосе над неизвестностью” закончилось: Марина все решила сама. В предпоследний день 1907 года молодые супруги окончательно разъехались.

А в первый день года наступившего в газете “Час” появилось стихотворение Кречетова “Смерть Пьеро (Веселая история)”, посвященное Ходасевичу:

...Один лишь жалобный Пьеро
Бредет с трагической миной.
Мелькнет ли белое перо
Над изменившей Коломбиной?

¹⁴⁴ Там же. С. 50–51.

Вскочив на стол, Пьеро стоял
С нелепо-вычурной отвагой.
Кривится рот. В руке кинжал,
В другой – бокал с кипящей влагой.

И долгим вздохом бедный зал
Ответил сдавленному стону.
И темно-алый ток бежал
По шутовскому балахону...

Образы были типичны для того времени (вспомним недавно появившийся “Балаганчик” Блока), но стиль общения, характерный для символистского круга, вполне позволяет заподозрить намек бывшего шафера на драматически сложившиеся отношения молодых супругов. В любом случае момент публикации пришелся как нельзя “кстати”.

Между тем, о семейном разладе Ходасевичей в Москве ходили самые разные слухи. Не все были на стороне Владислава. Экзальтированная девятнадцатилетняя Мариэтта Шагинян, которая в то время ни с поэтом, ни с его женой знакома еще не была, тем не менее донимала Марину “экстатическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защищать до последней капли крови»”¹⁴⁵, а Владислава Фелициановича однажды формально. вызвала на дуэль.

Однажды в Литературно-Художественном Кружке ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

“Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян”.

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

– Это серьезно?

– Вполне. <...>

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

– Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок.

– Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, – а знакомы всё не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились¹⁴⁶.

Если одни сплетники приписывали Ходасевичу злостное супружеское тиранство, то другие утверждали, будто Маковского привлекла не столько красота Марины, сколько ее состояние. Так или иначе, Сергей Константинович и Марина Эрастовна прожили вместе около десяти лет и расстались в годы Гражданской войны (жизнь им обоим выпала долгая: Марина умерла в 1973 году). Обвенчались они в 1911 году, уже после заочного увлечения *Papa Maso* романтической “испанкой” Черубиной де Габриак. По законам православной церкви основанием для развода была, как правило, супружеская измена, и право на немедленный второй брак приобретал лишь тот из супругов, который в измене не был виновен. Но Владислав венчаться ни с кем в то время не собирался, да и потом – он был католиком, а католическая церковь развода в

¹⁴⁵ Шагинян М. *Собрание сочинений*: В 9 т. Т. 3. С. 336.

¹⁴⁶ Ходасевич В. *Мариэтта Шагинян: Из воспоминаний* // СС-4. Т. 4. С. 336.

принципе не допускает. И он признался в романе с некой “Настенькой”. Всю историю выдумал по просьбе друга Муни. Имя героини он взял из “Белых ночей” Достоевского.

В итоге брак был расторгнут “согласно отношения Московской консистории от 20 декабря 1910 года”¹⁴⁷. Вступить в новый брак по православному обряду Ходасевичу разрешалось лишь три года спустя. С точки же зрения католической церкви, к которой он принадлежал, Владислав Ходасевич до конца жизни оставался супругом Марины Рындиной.

¹⁴⁷ Цит. по: Киссин С. *Легкое время*. С. 214 (со ссылкой на “студенческое дело” Ходасевича, без архивных данных; в университетском деле Ходасевича в МГИА этого документа нет).

6

Молодой Ходасевич производил на окружающих впечатление человека незаурядного: все свидетельствует об этом. Может быть, временами его заслонял более яркий Муни. Но не случайно высокомерный мэтр Брюсов считал его достойным собеседником, а Андрей Белый на равных дружил с ним. Юноша, который жил во взвинченной атмосфере символистской Москвы и вместе с другими “в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть”, в то же время умел быть жестким и насмешливым. Он явно выделялся из массы молодых поэтов-символистов (условных “Койранских”), часами сидевших в кофейне “У Грека”. Его рецензии тоже несут печать ранней зрелости: общие для эпохи суждения и оценки высказаны не по-юношески четко и дельно. Можно было ожидать, что из него получится умный и высокопрофессиональный литератор. Но ничто в 1904–1907 годах не позволяло предсказать, что Ходасевич станет великим поэтом. Точнее, почти ничто.

Стихи могут быть слабы по-разному. Порой в неумелой юношеской писанине проскальзывают яркие строки, строфы, образы – свидетельства силы, с которой сам автор еще не умеет толком совладать. Но в стихах Ходасевича 1904–1905 годов нет даже этого. В них в буквальном смысле слова “нет живого места”. Клише, унаследованные от надсоновской эпохи, сочетаются с символистскими клише, и во всем – вялость и необязательность.

Это относится и к тем трем стихотворениям, которые были напечатаны в третьем “Гриффе”. Сам Ходасевич так рассказывал об этой публикации: “В самом начале 1905 г. я прочитал ему (С. А. Соколову. – В. Ш.) три стихотворения. К удивлению моему (и великой, конечно, гордости), он сам предложил их напечатать. <...> Я навсегда остался благодарен С. А. Соколову, но думаю, что в ту минуту он был слишком снисходителен: стихи до того плохи, что и по сию пору мне неприятно о них вспоминать”¹⁴⁸. В самом деле, едва ли пера Ходасевича достойны эти строки:

Тихо, так тихо, и грустно, и сладостно...
В окнах мерцают огни.
Звон колокольный разносится благостно.
Плачу, что люди – одни.

Вечно одни, с надоевшими муками, –
Я, и другие, как тот,
Кто, зачарованный грустными звуками,
Там, за стеною поет.

Среди трех стихотворений, напечатанных в “Гриффе”, одно несколько превосходит другие энергией и лирическим “звоном”:

...И я дробил глухую тишь,
И в уши мне врывался ветер.
– Ты, город черный, мертво спишь,
А я живу – последний вечер. –

Бегу туда, за твой предел,
К пустым полям и к чахлым травам,

¹⁴⁸ Ходасевич В. Ф. [Ответ на анкету] // Новая газета. 1931. № 1. 1 марта.

Где мглистый воздух онемел
Под лунным отблеском кровавым...

Но эти скромные достоинства обесцениваются до крайности нелепым сюжетом стихотворения: лирический герой “безумно” бежит по городу с зажженным факелом, а затем топится в реке.

Пожалуй, из всех юношеских стихотворений настоящее дарование ощущается лишь в последних строках процитированного выше послания к Александру Брюсову:

...Но жизнь благодарю за то, что я – не стар
И не герой в театре марионеток.

Эти строки послужили эпиграфом к одному из стихотворений Брюсова-младшего, вошедшему в его единственную книгу “По бездорожью” (1907).

Стихи 1906–1907 годов, составившие книгу “Молодость”, уже не в пример лучше. Гораздо увереннее поэтическая техника, гибче и богаче язык, исчезла “надсонщина”, нет больше наивных юношеских излияний, но главное – сквозь общесимволистские штампы время от времени, пусть еще очень робко и смутно, проступает собственное лицо поэта. Что-то от настоящего Ходасевича видится в “Ряженных” с их тревожным окончанием, или в таких строгах, малосамостоятельных по образам, но точных по интонации строчках:

Один, среди речных излучин,
При кликах поздних журавлей,
Сегодня снова я научен
Безмолвной мудрости полей.

И стали мысли тайней, строже,
И робче шелест тростника.
Опавший лист в песчаном ложе
Хоронит хмурая река.

В стихах Ходасевича отразились общие переживания и настроения того круга, к которому он принадлежал. Неслучайно в книге есть стихотворение “Sanctus Amor”, посвященное, само собой, Нине Петровской. Неслучайны подражания Брюсову (“К портрету в черной рамке”), Андрею Белому (“Осень”), Блоку (“Цветку Ивановой ночи”). Но ближе всех Ходасевичу, пожалуй, оказался Федор Сологуб, самый строгий, мрачный и аскетичный из символистов, петербуржец, которого Владислав лично не знал. Именно у Сологуба заимствован образ “елкича”, обративший на себя внимание Веры Буниной.

Личные вкусы и пристрастия Ходасевича проявляются в том, что мрачные, “гибельные” образы и символистские абстракции уже в первой книге сочетаются с уютными стилизациями, отсылающими к пушкинской эпохе (“Элегия”, “Стихи о кухне”):

Кузина, полно... Всё изменится!
Пройдут года, как нежный миг,
Янтарной тучкой боль пропенится
И окропит цветник.

И вот, в такой же вечер тающий,
Когда на лицах рдяный свет,

К тебе, задумчиво вздыхающей,
Вернется твой поэт.

Это “пушкинианство” Ходасевича не встречало понимания у многих его друзей, верных символистской неврастенической эстетике, – например, у Нины Петровской. “Не забирайтесь на чужие вышки. Ломайте душу всю до конца и обломки бросайте в строфы, такой Ваш путь или *никакой*”¹⁴⁹, – пишет она Ходасевичу 29 апреля 1907 года.

Та любовная драма, которую переживал Ходасевич в 1905–1907 годах, отразилась в стихах “Молодости” косвенно. Лучшие (и самые личные) стихи этой книги напоминают обрывки снов о какой-то возможной, но уже не случившейся жизни. Боль и обида спрятаны где-то глубоко, а на поверхности – легкие, но точные слова:

Время легкий бисер нижеет:
Час за часом, день ко дню...

Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?

Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве, –

А уже рисунок вышит
На исклотой канве.

Интересен мотив “сына”, возникающий еще раз (“Медвежонок, сын мой плюшевый”). Этой темы – отцовства – потом у Ходасевича в стихах никогда не возникало. В жизни у него никогда не было детей. Был мальчик, к которому он, судя по всему, относился почти по-отцовски... но потом расстался с его матерью – и больше о нем почти не вспоминал.

И все-таки стихи, вошедшие в первую книгу Ходасевича, всего лишь обеспечивали ему место в ряду небесталанных поэтов околосимволистского круга, которых к концу 1900-х годов насчитывалось уже несколько десятков.

Но было в книге “Молодость” одно стихотворение, непохожее на все, что писали друзья и учителя Ходасевича. Оно было написано в самые трудные для поэта дни, в июне 1907 года, и посвящено Муни. Это стихотворение – “В моей стране”. Оно открывает книгу:

Мои поля сыпучий пепел кроет.
В моей стране печален страдный день.
Сухую пыль соха со скрипом роет,
И ноги жжет затянутый ремень.

В моей стране – ни зим, ни лет, ни весен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там – серый свет бессолнечных лучей.

Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как выючный скот,

¹⁴⁹ Из переписки Н. И. Петровской. С. 373.

В родную землю втаптывает зерна –
Отцовских нив безжизненный приплод.

Жуткая отчетливость и точность этих строк – прорыв в зрелую поэтику Ходасевича, которой еще предстояло сложиться. Может быть, лишь форсированное повторение однотипных определений (“бессолнечных лучей”, “безжизненный приплод”) обличает юность поэта.

Мотив любовного отчаяния и тоски проявляется только с четвертой строфы:

А в шалаше – что делать? Выть да охать,
Точить клинок нехитрого ножа
Да тешить женщин яростную похоть,
Царапаясь, кусаясь и визжа.

А женщины, в игре постыдно-блудной,
Открытой всем, все силы истощив,
Беременеют тягостно и нудно
И каждый год рожают, не доносив.

В моей стране уродливые дети
Рождаются, на смерть обречены.
От их отцов несу вам песни эти.
Я к вам пришел из мертвенной страны.

В том и ужас, что “мертвый”, “безжизненный”, “бессолнечный” мир не бесплоден. Ему присущ эротизм, но некрасивый, отталкивающий, темный. Он порождает некую жизнь, но убогую, уродливую, второсортную. В сущности, это образ ада – внутреннего ада, скрытого в человеческом сознании; ада, который именно тем и ужасен, что он – не смерть, а некая неполноценная, оборотная сторона жизни. Любовное несчастье (довольно тривиальное) открыло этот ад для его поэтического зрения.

Реакция знакомых на это стихотворение была различна. Нине Петровской оно чрезвычайно понравилось. Видимо, понравилось оно и Муни, который вообще-то был к стихам Ходасевича строг. Любопытно, что Тиняков был шокирован “ужасным нагромождением ужасных образов и слов”¹⁵⁰. (Любопытно это потому, что сам Тиняков если чем и остался в литературе, то именно “ужасными”, шокирующими, провокационно-антиэстетичными стихами, только несравнимо более плоскими, чем у Ходасевича.)

Видимо, именно в те дни, когда происходило окончательное расставание с Мариной, Владислав Фелицианович передал Кречетову рукопись книги. Два месяца спустя, в феврале 1908-го, она вышла. Так поэт попрощался с целым периодом своей жизни. Предстоял новый – один из самых трудных.

¹⁵⁰ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 85.

Глава четвертая. Бедный Орфей

1

Три года после расставания с Мариной – период в биографии Ходасевича темный: подробностей об этом времени его жизни известно немного.

Жил он в это время в меблированных комнатах “Балчуг” на одноименной улице в Замоскворечье. На этой улице (в здании нынешнего отеля “Балчуг Кемпински”) находились в то время многочисленные мастерские художников. В биографической хронике, написанной Ходасевичем для Берберовой, под 1908–1911 годами трижды значится “карты”, дважды – “пьянство”, один раз – “голод”.

Похоже, молодой поэт прочно погрузился в богемный быт в его самых традиционных и стереотипных формах.

Средоточием этого быта в Москве был все тот же Литературно-художественный кружок. Но если в начале десятилетия он был оплотом “либеральных адвокатов”, относившихся к “новому искусству” со смесью ненависти и тайного любопытства, как к чему-то завлекательно-порочному, то к 1908 году символисты составляли в нем полноценную, если можно так выразиться, фракцию, наряду со “знаньевцами”, а также многочисленными любителями словесности и меценатами, от Рябушинского до игольного фабриканта Владимира Гиршмана, китами журналистики вроде Власа Дорошевича и Владимира Гиляровского, актерами, среди которых главенствовал Александр Сумбатов-Южин, и разного рода “общественными деятелями” неопределенного сорта. Первым председателем кружка был психиатр Баженов, затем его место занял Кречетов, а потом – Брюсов. С 1905 года кружок, сменивший несколько помещений, одно другого роскошнее, располагался в особняке Востряковых на Большой Дмитровке, 15.

По вторникам там читались лекции и доклады. Ходасевич вспоминал:

Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов – не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес. Тогда все это казалось ужасно значительно и нужно – на поверку вышло не так. Действительная литературная жизнь протекала вне Кружка, осаждаясь в нем лишь сумятицей и шумихой, подчас вредной и пошлой. <...> Для серьезной беседы аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать иль ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиных¹⁵¹.

Но главным в кружковой жизни были не литературные дискуссии, не библиотека, а поздние трапезы и бдения за карточными столами. К полуночи в особняке на Дмитровке собиралась “вся интеллигентская и буржуазная Москва – из театров, с концертов, с лекций. Здесь назначались свидания – литературные, деловые, любовные. Официально считалось, что цель столовой – предоставить дешевые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но на самом

¹⁵¹ Ходасевич В. *Московский Литературно-художественный кружок* // Воспоминания о Серебряном веке. С. 390–391.

деле было не так. Действительно нуждающихся в столовой Кружка никто, кажется, не видал, а дешевые ужины запивались дорогими винами”¹⁵². Пили много, и все разное: символисты – “Мартель” и мадеру, реалисты – водку.

Еще с десяти вечера начиналась серьезная карточная игра. Она, собственно, и обеспечивала бюджет Кружка. Одних членских взносов не хватало бы на арендную плату за роскошный особняк с несколькими обеденными залами, несколькими гостиными, бильярдной, библиотекой. Играли в самые разные игры – покер, бридж, но особенно популярна была “железка” (изначально “железная дорога”), французская разновидность баккара, широко распространившаяся в России как раз в начале XX века и почему-то запрещенная полицией. Это придавало игре дополнительную остроту: в любую минуту могли явиться стражи закона и пресечь предосудительные увеселения.

По воспоминаниям Гиляровского, “штрафы с засидевшихся за «железкой» игроков пополняли кассу. Штрафы были такие: в 2 часа ночи – 30 копеек, в 2 часа 30 минут – 90 копеек, то есть удвоенная сумма плюс основная, в 3 часа – 2 рубля 10 копеек, в 3 часа 30 минут – 4 рубля 50 копеек, в 4 часа – 9 рублей 30 копеек, в 5 часов – 18 рублей 60 копеек, а затем Кружок в 6 часов утра закрывался, и игроки должны были оставлять помещение, но нередко игра продолжалась и днем, и снова до вечера”¹⁵³.

Ходасевич был завсегдатаем игорных комнат – и описывает происходившее в них подробно и со знанием дела:

Ежевечерне составлялось, в среднем, по десяти столов. За каждым сидело десять или двенадцать игроков, окруженных плотной стеной понтеров “со стороны”. В общем, за ночь через игорную залу проходило, должно быть, человек триста. Столы были серебряные, за которыми минимальная ставка была в один рубль, золотые, где счет шел на пятерки, и один стол – бумажный, со счетом на двадцатипятирублевки. За бумажным играли московские богачи, изредка – профессионалы. Тут игра шла тихо, сосредоточенно, почти без участия посторонних, “стоячих” игроков¹⁵⁴.

Среди партнеров Ходасевича по “железке” были самые разные люди, вплоть до Сергея Львовича Толстого и Федора Федоровича Достоевского (у последнего любовь к азартным играм была явно наследственной). Ходасевич позднее вспоминал гротескную сцену: далеко уже не юные сыновья классиков запальчиво ссорятся из-за замусоленной бумажки, которой Сергей Львович попытался расплатиться. Из видных писателей в числе игроков, кроме Ходасевича, бывал, пожалуй, лишь Брюсов, и то редко: великолепный преферансист, он был “беспомощен и бездарен” в играх чисто азартных, требующих не расчета, а вдохновения и интуиции. Здесь удивительным образом проявлялись самые глубинные, коренные черты его личности. Ходасевич же купался в стихии игры – особенно в эти годы, когда и отчета давать было некому, и терять как будто нечего. Азарт у круглого столика играл в его жизни такую же роль, которую прежде, до встречи с Мариной, играли танцы.

И выпивка, и “железка” – все это было не только в Литературно-художественном кружке, но и в Купеческом и Охотничьем клубах. Но если почтенные обыватели, покинув свой клуб, возвращались к будничным трудам и семейному уюту, то для многих представителей художественного и околохудожественного мира Литературно-художественный кружок был лишь одной из остановок в каждодневных праздных, вдохновенных, нетрезвых скитаниях по ночному городу. По крайней мере, так обстояло дело у Ходасевича. Вечера, свободные от страстных литературных диспутов и игры в “железку”, он проводил в обществе Муни.

¹⁵² Там же. С. 392.

¹⁵³ Гиляровский В. А. *Москва и москвичи* // Гиляровский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1989. Т. 4. С. 451.

¹⁵⁴ Ходасевич В. *Московский Литературно-художественный кружок. Ч. 2* // Возрождение. 1937. 17 апреля.

Обычно вечер наш начинался в кафэ на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по несколько раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем, – и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, –

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом, происходили свидания “у звезды”: мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда¹⁵⁵.

Все это в самом деле было и трогательно, и романтично, и сам образ тогдашней Тверской участвовал в создании этого эффекта, но позволим себе сухой подсчет. Получается, что два хрупких, худощавых юноши ежевечерне выпивали в общей сложности по 300–400 граммов крепкого спиртного на каждого. Так что возбуждение от дерзких идей и жизнестроительных фантазий старших товарищей, от искусства и от несчастной любви смешивалось с возбуждением иного рода. Неудивительно, что половые в “Праге” двоились...

Еще одной составляющей был голод, обостривший чувства. Бывало, что Ходасевич и Муни за два-три дня съедали один калач и выпивали бутылку молока. Дело в том, что разрыв с Мариной имел для Владислава и вполне прозаические последствия: теперь приходилось не прирабатывать, чтобы ощущать себя независимым человеком, а полноценно зарабатывать на жизнь. “Перевал” между тем уже закрылся, а гонораров вместе с помощью брата Миши хватало на карты и на “Мартель”, но далеко не всегда оставались деньги на пропитание.

Стоит, однако, поговорить об источниках этого литературного заработка.

¹⁵⁵ Ходасевич В. *Муни*. С. 74.

2

Таких источников было два: во-первых, переводы, во-вторых, газетная критика и публицистика. Эта литературная поденщина стала отныне уделом Ходасевича до конца жизни, с коротким перерывом в дни “военного коммунизма”, когда он состоял на государственной службе.

Французским и немецким Ходасевич владел, видимо, не лучше и не хуже большинства литераторов той поры, закончивших классические гимназии. Но по крайней мере один иностранный язык – польский – он знал в совершенстве. Между тем спрос на переводы с этого языка существовал: центральная часть Польши входила в состав Российской империи, польская интеллигенция взаимодействовала с русской. Переводились как шедевры польской литературы, так и новинки.

Все переводы с польского, сделанные Ходасевичем в 1908–1911 годах, предназначались для серии “Универсальная библиотека”, учрежденной издательским товариществом “Общественная польза”. Владелец издательства был Владимир Морицевич Антик. “Польза”, специализировавшаяся на дешевых (20–40 копеек) многотиражных изданиях оригинальной и переводной беллетристики, а также “просветительной” научно-популярной литературе, занимала видное место в тогдашнем книгоиздательском ландшафте (четвертое место среди издательств России по количеству наименований, пятое – по общему тиражу).

Сам поэт в биографической хронике упоминает лишь один из своих переводов – “Марина из Грубого”¹⁵⁶. Этот роман Казимежа Тетмайера (Пшервы-Тетмайера), вышедший на польском языке в 1909 году, входит в цикл его произведений, посвященных истории Татр. В основе сюжета романа – крестьянское восстание, поднятое в середине XVII века бастардом из королевской семьи. Фабула включает многочисленные авантурные приключения, роковые страсти и мелодраматические сцены. Будь подобный роман написан в то время по-русски, он едва ли был бы воспринят всерьез, но в Польше он вписывался в неоромантические устремления эпохи, а русские издатели и читатели видели в нем экзотический флер. Вот свидетельство популярности татрского эпика: в рассказе Бунина “Чистый понедельник” (1944), действие которого происходит в 1910-е годы, герой дарит своей возлюбленной книги модных писателей – и в списке их есть Тетмайер. Может быть, сердце Ходасевича екнуло при имени главной героини, неукротимой роковой женщины из селения Грубое. В 1910 году, когда он работал над переводом (вышедшим год спустя), память о Марине Рындиной еще была свежа. Кроме “Марины из Грубого” Ходасевич перевел еще несколько произведений Тетмайера: книгу рассказов “Орлицы”, роман “Яносик Нендза Летмановский” (продолжение “Марины из Грубого”).

Более крупным писателем был Владислав Реймонт, виднейший представитель польского натурализма. Его эпопея “Мужики”, принеся автору Нобелевскую премию в 1924 году, считалась вершиной его творчества. Сейчас она несколько заслонена другим, более ранним романом Реймонта “Земля обетованная”, посвященным фабричной Лодзи; интерес к этой книге за пределами Польши был спровоцирован снятым по ее мотивам фильмом Анджея Вайды. Перевод четырех частей “Мужиков”, выполненный Ходасевичем, был опубликован в 1910–1912 годах. Примечательно, что как раз в это же время два других издательства (Саблина и “Современные проблемы”) издали другие переводы романа – Высоцкого и Троповской. Перевод Троповской, авторизованный, впоследствии неоднократно переиздавался. Такой широкий интерес к роману был вполне объясним: отраженная в нем социальная проблематика была близка русской литературной традиции с ее “мужиколобием”. Исследователи отмечают многочисленные параллели между “Мужиками” и произведениями русских писателей той поры (вспомнить хотя

¹⁵⁶ Форма “из Грубаго”, встречающаяся в публикациях, – механическое воспроизведение дореформенной орфографии.

бы “Деревню” Бунина). Другое дело, в какой мере это было интересно Ходасевичу. Можно с уверенностью сказать: ни в какой или в очень малой. Переводы крестьянской прозы – это была механическая работа для заработка, никак не пересекавшаяся с его внутренней жизнью.

Гораздо ближе Ходасевичу был Зигмунд Красинский, младший в тройке великих польских романтиков, человек противоречивой судьбы и безотрадного мирозерцания. Сын царского генерала, он не был формально эмигрантом, но предпочитал жить в Париже. Консерватор и монархист, одновременно польский националист – а значит, в каком-то смысле бунтарь. Он писал стихи и романы, но вершина его творчества – две пьесы в прозе, “Небожественная комедия” и “Иридион”. Ходасевич перевел для “Пользы” вторую пьесу, в оригинале вышедшую в 1836 году, и написал к ней предисловие. Действие пьесы происходит в первые века нашей эры; герой – грек, восстающий против римских завоевателей.

Есть два знамени бунта: месть и освобождение. Иридион выбрал первое – и погиб. Если бы он взял второе, он бы также погиб: дело в обоих случаях одинаково решилось бы физическим превосходством Рима. Но важно не это.

Велика любовь Иридиона, и велика ненависть. Он восстал, как язычник, мститель и разрушитель. Христиане не вышли из катакомб своих и не помогли ему. Епископ Виктор в конце концов благословил римского императора, а не греческого мятежника. Масинисса, откровенно названный “сыном бездны”, обольстил Иридиона радостью мщения, но едва ли не больше “попутал” он христианского епископа, благословившего угнетателя.

В последнем споре неба и Масиниссы за душу Иридиона побеждает небо: Иридион спасен “за то, что любил Грецию”. Но здесь возникает вопрос, категорически Красинским поставленный, но не только не разрешенный, – напротив, кажется, всю жизнь его преследовавший. Голос с неба посылает Иридиона “на север”, к другому угнетенному народу, заканчивать дело своей жизни. Во имя чего же, однако, пойдет Иридион? Не во имя ли той же мести, на которую подвигнул его Масинисса? Не пойдет ли он для нового заблуждения – как мститель и разрушитель, не как освободитель и созидатель? Здесь – не соблазнил ли Масинисса и “неба”? Или оно разрешает так вопрос Ивана Карамазова: прощать не имеешь права? Кажется, так хотел разрешить его сам Красинский. Но окончательной победы “за любовью ненавидящей” он признать не решился¹⁵⁷.

Таковы были размышления, к которым подвигла Ходасевича переведенная им пьеса. Понятно, что мысли эти были вполне актуальны в российском контексте начала XX века. Неслучайно и “Иридион” в то время переводился не только Ходасевичем и не только для “Пользы”: в 1904 году издательством “Знание” был издан перевод А. Уманьского.

Одновременно начинается газетная работа. Ходасевич становится сотрудником, постоянным или эпизодическим, изданий очень разной степени респектабельности и разной политической направленности – октябристского “Голоса Москвы”, кадетского “Руля”, левого “Утра России”, невзыскательно-бульварного “Раннего утра”, официальной “Московской газеты” (редактором которой с 1910 был Янтарева), а также ярославской газеты “Северный вестник”, в которой писали многие московские модернисты. Судя по всему, статьи и заметки, опубликованные Ходасевичем под собственным именем или под известными биографам и публикаторам псевдонимами (Ф. Маслов, Сигурд, Кориолан, Гарольд), – лишь вершина айсберга: многие материалы шли под одноразовыми псевдонимами и едва ли могут быть идентифицированы.

¹⁵⁷ Ходасевич В. С. Красинский. Иридион // СС-2. Т. 2. С. 75.

Лишь некоторые из заметок Ходасевича носят литературный характер, в том числе “Критико-библиографический обзор. Стихи”, напечатанная в “Северном вестнике” 17 января 1908 года. В начале этого обзора – отзыв на первый том “Путей и перепутий” собрания стихотворений Брюсова, включающий его ранние, 1890-х годов, стихи. “Эта книга что-то дорогое кончает, подчеркивает, и обстоятельная библиография в конце ее звучит как некролог. Словно несут за гробом на бархатных подушках ордена”¹⁵⁸. В этом кратком замечании соединилось все – и еще не изжитая многолетняя любовь к стихам Брюсова (и отчасти – к нему самому), и бунт против властного мэтра, и отчуждение от него.

Впрочем, ко всем остальным авторам Ходасевич был еще строже. Он пишет о деградации Сергея Городецкого (от первой книги, “Ярь”, к третьей, “Дикая воля”) – правда, об этом писали многие. Он высмеивает эпигонов, чьи стихи светятся отраженным светом новой, недавно загоревшейся и стремительно вошедшей в зенит звезды – Александра Блока (Блок был, пожалуй, единственным поэтом-современником, которым Ходасевич восхищался безоговорочно и неизменно); в числе этих эпигонов оказывается и Георгий Чулков, довольно плодовитый стихотворец и прозаик, в прошлом идеолог мистического анархизма, грифовец и перевалец, в советское время – видный историк литературы. О стихах Чулкова Ходасевич говорит уничтожающе: “Чулков – не поэт. <...> Образ и символ г. Чулков подменил условным знаком, термином, выработанным где-то, с кем-то, должно быть – в разговоре”¹⁵⁹. Через несколько лет тональность отношений с Чулковым резко изменится по личным обстоятельствам; пока же у Ходасевича нет причин скрывать свое отношение к опытам этого автора. Более мягок он в отзывах о своем бывшем педагоге – Викторе Стражеве, хотя и в его стихах видит временами “безвкусицу” и “бессилье”.

Стражеву, впрочем, вскоре пришлось оставить литературу при довольно скандальных обстоятельствах: в списке полицейских “шпионов”, опубликованном неутомимым Владимиром Бурцевым, оказалось имя его гражданской жены. Тень пала и на самого Стражева, который считал за лучшее надолго уехать в провинцию и всецело посвятить себя педагогике – до конца своих дней. Между прочим, на склоне лет он стал одним из авторов учебника по литературе XIX века для 9-го класса, по которому в 1940-е – 1950-е годы учились многие поколения советских школьников.

Ходасевич отдельно отрецензировал еще несколько книг – например, “Смешную любовь” Петра Потемкина, “Идиллии и элегии” Юрия Верховского. Но, пожалуй, более интересны его нравоописательные и философические заметки этого времени.

Две из них – “Накануне” (Раннее утро. 1909. № 144. 25 июня) и “Тяжелее воздуха” (Руль. 1909. № 191. 14 сентября) связаны с модным техническим новшеством – авиацией. Отношение Ходасевича к техническому прогрессу и механической цивилизации – тема вообще особенная и сложная. Как мало кто, он чувствовал эстетическую выразительность революционных изменений вещного мира, но при этом не разделял вызванного этими изменениями энтузиазма. И именно это смущало газетчиков.

Фельетон “Накануне” был, по воспоминаниям поэта, отклонен несколькими газетами, шокированными его пессимизмом. Между тем Ходасевич всего лишь написал, что “нельзя начинать новую эру, грозя все тем же добрым старым кулаком”¹⁶⁰. Мечты о всеобщем мире, антимилитаризм – все это было чрезвычайно популярно в канун мировой войны. Но всерьез в надвигающуюся угрозу мало кто верил. Ходасевич – верил:

...когда в один прекрасный день “союзные” броненосцы загудят
над нашими городами, когда расцветут “дружественные” демонстрации

¹⁵⁸ Ходасевич В. *Критико-библиографический обзор. Стихи* // СС-4. Т. 2. С. 549.

¹⁵⁹ Ходасевич В. *Критико-библиографический обзор. Стихи*. С. 40–41.

¹⁶⁰ Ходасевич В. *Накануне* // СС-2. Т. 2. С. 66.

воздушных флотов – захочется чем-нибудь накрыть себе голову. А когда военные визиты откровенно превратятся в сражения – не придется ли нам прятаться под землею, уходить на сорок этажей вниз, как теперь взбираемся мы на сороковые этажи вверх?

Не будет ли человеческая кровь литься на нас с неба?¹⁶¹

Впрочем, в русской поэзии того времени есть один пример такого – провидения? или просто проявления трезвости? Это – финал “Авиатора” Блока:

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?¹⁶²

Но окончательная редакция стихотворения Блока написана уже в 1912 году, а в то время три года (с точки зрения технического прогресса и, в частности, в контексте осознания его последствий) были сроком изрядным.

Фельетон “Тяжелее воздуха” трактует ту же тему в ином, ироническом ключе, причем в связи с актуальными политическими новостями – делом об убийстве в июле 1906 года депутата Первой Государственной думы, кадета Михаила Герценштейна, в организации которого прогрессивная общественность обвиняла одного из лидеров черносотенного Союза русского народа Александра Дубровина¹⁶³.

Развитие воздухоплавания обещает раскрыть горизонты необъятной ширины. Действительность, окружающая нас, примет совершенно новые, небывалые формы. Парламент будет собираться на высоте 500 метров выше Петербурга, совершенно как хоры ангелов... Дубровиных будут разыскивать где-нибудь на седьмом небе... <...>

Да, настанет пора воздушных прогулок, небесных свиданий. Воздушные кокетки будут так очаровательны, воздушные дамы – так коварны! Воздушные молодые люди... Боже мой, какие цилиндры будут у воздушных молодых людей! А полиция воздушных нравов? Я думаю, она будет чрезвычайно строга¹⁶⁴.

Но несмотря на игривый тон, мысль Ходасевича серьезна.

Тонкие дни приближаются, изящные. Но неужели вся тонкость, вся легкость будет только в том, что мы раскинемся в нескольких ярусах? И все будет по-прежнему?

Мы все-таки останемся – “тяжелее воздуха”¹⁶⁵.

¹⁶¹ Там же.

¹⁶² В то время как поэтов посещали тревожные видения, а газетчики были настроены радужно, иные “люди дела” обсуждали самые неожиданные возможности, связанные с появлением аэропланов. Так, способный инженер Е. Ф. Азеф, бывший главой боевой организации партии социалистов-революционеров (партийная кличка – Иван Николаевич) и по совместительству агентом Департамента полиции (оперативные псевдонимы – Раскин, Виноградов), разработал в 1908 году проект нападения на Царскосельский дворец с воздуха.

¹⁶³ М. Я. Герценштейн был убит 18 июля 1906 года в Териоках, на территории Великого княжества Финляндского. Четыре соучастника убийства были осуждены финляндским судом в 1909 году. Непосредственный исполнитель, Александр Казанцев, до суда не дожил: он стал жертвой мести человека, которого обманом заставил убить другого видного кадета, Г. Иоллоса. В отношении Дубровина расследование было закрыто по высочайшему повелению.

¹⁶⁴ Ходасевич В. *Тяжелее воздуха* // СС-2. Т. 2. С. 70.

¹⁶⁵ Там же. С. 71.

Для Ходасевича это “тяжелее воздуха” – осознание крушения символистской утопии, мечты о сверхматериальном и сверхчеловеческом, которое в тот момент воспринималось им только трагически. Несколько лет спустя взгляд изменится – и тогда в его творчестве снова появится мотив авиации, хотя на деле писатель так никогда в жизни и не поднимется в небо.

Другой темой, о которой много говорилось в то время, были попытки достичь Северного полюса. И здесь Ходасевич снова не проявил должного энтузиазма. Для него и достижение человеком самой северной точки Земли – не осуществление, а крушение мечты: “Взамен прекрасной тайны отныне человечество получило клочок земли, «изобилующей пушным зверем»”¹⁶⁶.

Ощущение кризиса – на сей раз не символистского мировидения, а декаданса как образа жизни – особенно остро отразилось в одном из самых интересных газетных текстов Ходасевича той поры, “Девицы в платьях” (Руль. 1908. № 16. 27 января). Этот текст – злая сатира на массовое “декадентничанье”, девальвирующее то, что для самого поэта было важным и в некий момент даже священным. По времени это первая публикация Ходасевича, носящая не чисто литературный характер. Фельетон писался еще в дни расставания с Мариной, что, может быть, сказалось на его резко-язвительном тоне.

...придя на “вторник” в Литературно-художественный кружок, или в Художественный театр, или на лекцию Андрея Белого, на картинную выставку – вы поражаетесь обилием дам и девиц, одетых и причесанных “в стиле”. Какой это стиль – тайна, открытая только дешевым портнихам и конфетным художникам. <...>

Попробуйте поговорить. Сразу вас огорошат:

– Как вы думаете, лесбос и уранизм – одно и то же? Но два лика, да?

– Гм... право, я не знаю... почему это вас так интересует?

– Я никогда не отвечаю на вопросы: зачем и почему!

Умолкает.

Девять десятых “декадентских” барышень учатся на драматических курсах, говорят о новом театре и приходится сродни художественному.

– Искусство есть ритм и пластика!

Ах, искусству присущи и ритм и пластика, но после такого афоризма хочется брякнуть:

– Наплевать мне на всякое искусство!

Девица возмущается:

– Но вы пишете стихи!

– Мне кушать хочется.

Презрительно отвертывается и бормочет:

– Поступал бы в дворники...

Но говорить ей хочется до головокружения и она восклицает (непременно афоризм непременно ни с того ни с сего):

¹⁶⁶ Там же. С. 68. Фельетон “Сфинкс” (Руль. 1909. № 188. 24 августа) – парный к “Тяжелее воздуха”. Оба они напечатаны под рубрикой “Последние письма романтика” (и действительно написаны в форме посланий к некоей “сударыне”) за подписью Гарольд. Насчет тайны Ходасевич погорячился. Тайна оставалась – по крайней мере, оставалась неясность. Дело в том, что в апреле 1909 года американец Фредерик Кук объявил о том, что он достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года (Куку понадобился почти год, чтобы добраться до большой земли и послать оттуда сообщение), но не смог предъявить результатов измерений географических координат. Через несколько дней другой американец, Роберт Пири, объявил о покорении Северного полюса (результаты измерений на этот раз были предъявлены). Последующая жизнь Пири была посвящена утверждению своего приоритета (успешному) и уничтожению Кука. Современные исследователи пришли к сенсационному выводу: ни Кук, ни Пири на полюсе не были. Правда, Пири и его спутник Мэтью Хенсон находились от самой северной точки Земли всего в восьми километрах: их подвели приборы.

– Андрей Белый подарил нас (вы кусаете себе ногти) солнечностью в лазурности, а Бальмонт (произносится Бальмóнт) – пьяной росистостью. О, кованость Брюсовского стиха, о, колдовство Сологуба, о, маска Блока!

Боже мой! Если вам дороги Брюсов и Белый, и Блок – вы обязаны ответить.

– Белый – ломака, Бальмонт – эротоман, Брюсов – бездарность, умеющая писать только о бледных ногах.

Девушка исчезает и уже пальцем указывает на вас новому спутнику. На лице – презрительный ужас¹⁶⁷.

Почему-то эта в сущности невинная разновидность “исторической пошлости” так возмущала молодого поэта. Он словно забыл эпизод из “Моцарта и Сальери”: слепой *скрипач*, уродующий своим исполнением моцартовскую музыку, вызывает у самого гения лишь хохот – негодует патетический завистник. Но некая внутренняя логика в его фельетоне есть. Во всяком случае, очень легко нащупать нить, ведущую от гимназического сочинения 1903 года к “Девичам в платьях”. Для Ходасевича по-прежнему есть две правды: правда эзотерических “поэтов-жрецов” и их неизбежно малочисленной аудитории, и правда “людей, живущих здоровой жизнью”. Проникновение в их среду моды на “новое искусство” вредно и опасно, потому что ведет, с одной стороны, к вульгаризации этого искусства, с другой – к отравлению его ядами “нормальных” людей: адвокатов, инженеров, матерей семейств.

Между тем сам Ходасевич к этому времени во многом внутренне расставался с символизмом и тем более – с “декадансом” как мироощущением. Это проявилось уже в стихах конца 1900-х годов.

¹⁶⁷ Ходасевич В. *Девичы в платьях* // СС-2. Т. 2. С. 43.

3

“Молодость” вызвала не так уж много рецензий. Самая пространная из них принадлежала Виктору Гофману и была напечатана в седьмом номере “Русской мысли” за 1908 год вместе с рецензиями на “Романтические цветы” Николая Гумилева и сборник Льва Зилова, небольшого поэта, позже в основном работавшего в детской литературе.

Эта первая, чрезвычайно тонкая и бедная количеством стихотворений книга, несомненно, заслуживает внимания. Достаточно открыть ее на любом стихотворении, чтобы убедиться, что поэт прежде всего мастер формы. <...> Ходасевич знает ценность слов, любит их, и обыкновенно у него виден строгий и обдуманый отбор их. Размеры его разнообразны и внутренне закономерны, последовательно вытекают из содержания. Почти везде ощущается поющая мелодичность. Наконец, к положительным сторонам книги нужно отнести несомненный художественный вкус ее автора, не позволяющий ему все оригинальное считать непременно хорошим. <...>

Это плюсы. Но есть, конечно, и отрицательные стороны. Таковы: часто неприятный маньеризм автора, его самолюбование, стремление к тому, что называется *épater les bourgeois*¹⁶⁸. И какими дешевыми среднедекадентскими приемами это иногда достигается. <...> К недостаткам книги, кажется, нужно отнести ту старческую слезливость, в которую кое-где переходит изящная сентиментальность поэта”¹⁶⁹.

В сущности, это слово в слово можно было сказать о многих молодых поэтах той поры, и нелегко понять, что именно в стихах Ходасевича понравилось Гофману и что его оттолкнуло. Пожалуй, лишь о финале “Ряженных” он высказывается определенно:

Если задаться вопросом о будущем г. Ходасевича, сравнив его первую книгу с первыми же книгами некоторых современных русских поэтов, которыми мы теперь по праву можем гордиться, то г. Ходасевичу, кажется, не придется краснеть. Кое-где у него даже лучше форма, больше вкуса и меньше смысловых ошибок, нелепостей, непонимания самого себя. Но в пользу ли г. Ходасевича будет и вывод?

Фридрих Геббель говорит в своем дневнике, что на первых шагах посредственности очень часто опережают гениев, и именно – с внешней стороны... Поэтому и г. Ходасевич не должен забывать, что и для него не исключена судьба многих скороспелых вундеркиндов. Впрочем, ничто пока не дает придавать этой возможности слишком большой вероятности¹⁷⁰.

Уж кем Ходасевич не был – это скороспелым вундеркиндом. Скорее, Гофман писал не о нем – уж не о себе ли?

Интересно, что и Гофман, и Брюсов в статье “Дебютанты” (Весы. 1908. № 3) сравнивают первую книгу Ходасевича и вторую (по другому счету первую) книгу Гумилева. Гофман оценивает “Романтические цветы” невысоко – в его глазах эта книга явно уступает “Молодости”: “Нет в этих стихах настоящей лирики, нет музыки стихотворения, которую образуют и в которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые слова, образы и настроения”. Брюсову гумилевская книга нравится: он отмечает, что стихи этого поэта “красивы, изящны

¹⁶⁸ Ошеломлять обывателей (фр.).

¹⁶⁹ Русская мысль. 1908. № 7. С. 243–244.

¹⁷⁰ Там же.

и, большею частью, *интересны по форме*». Но ему недостает “силы непосредственного внушения”. Напротив, “у В. Ходасевича есть то, чего недостает... Гумилеву ...: острота переживаний. <...> Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами”. Однако при том, “что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока”¹⁷¹. Отзыв этот небеспристрастен, в нем отразились сложности человеческих отношений – и напротив, покровительственная приязнь Брюсова к почтительно проходившему ученический искусу Гумилеву. И все-таки в нем есть своя справедливость¹⁷².

Еще один отзыв – в знаменитой статье Иннокентия Анненского “О современном лиризме” во втором номере “Аполлона” (1909): “Вот сборник Владислава Ходасевича «Молодость». Стихи еще 1907 г., а я до сих пор не пойму: Андрей ли это Белый, только без очарования его зацепок, или наш, из «комнаты». Верлен, во всяком случае, проработан хорошо. Славные стихи и степью не пахнут. Бог с ними, с этими емшанами!”¹⁷³ Суждение странное и двусмысленное (чего стоит этот неожиданный “емшан” – Ходасевич противопоставляется никому иному, как кумиру его детства, Аполлону Майкову). Но по-детски высокомерного отзыва Ходасевича на “Книгу отражений” Анненский или не помнил, или не придавал ему значения. Позднее Ходасевич не раз говорил о поэзии Анненского с искренней, хотя и не безоговорочной любовью. Лично они, видимо, не встречались: вскоре после публикации двух частей статьи “О современном лиризме” Иннокентий Федорович скоропостижно скончался, не дожив нескольких месяцев до своей долгожданной славы.

Редактором “Аполлона” был Сергей Маковский. Он сразу же предложил Ходасевичу сотрудничество в журнале. Владислав Фелицианович позднее несколько раз печатался в “Аполлоне”, хотя признавался, что вести деловые и особенно денежные переговоры с мужем своей бывшей жены ему психологически трудно. Впрочем, это было не единственное петербургское издание, которое к концу десятилетия обратило внимание на Ходасевича. 15 марта 1909 года Алексей Ремизов, с которым Ходасевич познакомился несколько раньше, пишет ему (своим характерным витиеватым полууставом): “Теперь вот что: у нас будет журнал поэтов. Сборник, в котором будут *только* стихи. Вести будут три молодых поэта: Потемкин, Гумилев и гр<аф> А. Толстой. На гастролях у них будут участвовать Брюсов, Вяч. Иванов, Сологуб, Волошин, Кондратьев, Верховский. Пришлите мне несколько стихов Ваших, и я им предложу. Вас ценят”¹⁷⁴. Речь идет о журнале “Остров”, умершем на втором номере, который издатели не смогли выкупить из типографии из-за отсутствия денег. Среди его авторов, кроме перечисленных Ремизовым, были и Блок, и Анненский, и молодой Бенедикт Лившиц, но стихи Ходасевича появиться в “Острове” не успели.

Наряду с рецензиями в 1908 году в газете “Руль” (23 апреля), в цикле “Литературные портреты” появилась первая, можно сказать, “монографическая” статья, посвященная поэту. Автором ее был А. Тимофеев. Она замечательна как чуть ли не первое по времени свидетельство о впечатлении, которое производил Ходасевич на человека “со стороны”, не принадлежавшего к замкнутому кругу, внутри которого все понимают друг друга с полуслова и все связаны многолетними отношениями и счетами.

¹⁷¹ Брюсов В. *Среди стихов*. 1894–1924. С. 261, 262, 264.

¹⁷² По сути то же самое, но прямее говорит Брюсов о книге Ходасевича в письме Нине Петровской от 12 марта 1908 года: “Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander’a” (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 8 об.). Alexander – псевдоним Александра Брюсова.

¹⁷³ Анненский И. *Книги отражений*. М., 1979. С. 381 (Серия “Литературные памятники”).

¹⁷⁴ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 1.

Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо – серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной пронизательностью. Совсем – поэт декаданса! <...>

Позже я познакомился с поэтом. И надо сказать, в нем действительно как-то странно и привлекательно сочетаются – физическая истомленность, блеклость отцветшей плоти с прямой, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии. Как в личности, так и в творчестве, в поэзии Ходасевича <...> так же странно и очаровательно сплетаются две стихии, два начала: серость, бесцветность, бесплотность – с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний, то грустно смеющаяся, то нежно грустящая лирика – с другой стороны¹⁷⁵.

Поэт в культуре начала века нуждался в собственном образе, даже маске. Хилый, истомленный, “бесплотный”, но наделенный острым и беспощадным умом “декадент” – образ не самый прельстительный, но выразительности не лишенный. Этот образ (впоследствии эволюционировавший, но сохранявший свою суть) сложился раньше, чем собственно творческая индивидуальность поэта.

Впрочем, в глазах Тимофеева “истомленность” молодого поэта была результатом вредного влияния “декаданса” на его свежий талант. “«Безмолвная мудрость полей» – ты многому научила высоких и сильных, научи и Ходасевича. Ибо ему много дано, а значит, много с него и спросится”, – так завершает газетный “портретист” свой очерк.

К тому времени, когда появились все эти отзывы, поэзия Ходасевича во многом изменилась. Стихи “Молодости” были для него уже пройденным этапом. Новые его стихотворения и походили, и не походили на прежние.

Гораздо отчетливее, чем в “Молодости”, звучит теперь “пушкинианская” нота. О своих любовных несчастьях поэт говорит языком едва ли не батюшковской элегии:

...Быть может, там ручей,
Еще кипя, бежит от водопада,
Поет свирель, вдали пестреет стадо,
И внятно щелканье пастушеских бичей.
Иль, может быть, на берегу пустынном
Задумчивый и ветхий рыболов,
Едва оборотясь на звук моих шагов,
Движением внимательным и чинным
Забросит вновь прилежную уду...
Страна безмолвия! Безмолвно отойду
Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,
Бежит, шумя, к долине безглагольной...
Но может быть – не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,
Но памятью мятежной и живой
Дохнет сей мир – и снова предо мной...
И снова ты! а! страшно мысли той!..

¹⁷⁵ Тимофеев А. Ходасевич // Руль. 1908. 23 апреля.

В некоторых других стихотворениях элемент стилизации еще сильнее. Литературный контекст 1908–1910 годов гораздо естественнее включал подобные стихи, чем несколькими годами ранее. Многие поэты околосимволистского круга, утомленные неврастеническим мироощущением “декадентов”, шокированные стремительной вульгаризацией символистской эстетики, сопровождавшей ее шествие в массы, не принимавшие ни экстатических умствований ивановской “Башни”, ни взвинченного демонизма брюсовских эпигонов, обращались к стилистической реконструкции, искали гармонии в культуре иных эпох. То, что до сих пор было скорее достоянием живописи и декоративного искусства (круга “Мира искусства”), все больше заявляло свои права в поэзии. В 1908 году появляются “Сети” Михаила Кузмина, два года спустя – его статья “О прекрасной ясности”. Если репертуар Кузмина-стилизатора был очень широк – от эллинистической Александрии до средневековой Персии, от французского рококо до старообрядческих духовных стихов, – то Юрий Верховский, Борис Садовской, Василий Комаровский тяготели к пушкинской эпохе как к эталону духовного и формального благородства. Да и сам Брюсов в эти годы, по проницательному позднейшему замечанию Ахматовой, “решил, что ему (то есть единственно истинному и *Первому* поэту) больше всего подойдет личина ученого *неоклассика*”¹⁷⁶. В этом контексте должны были восприниматься новые стихи Ходасевича, пару раз появившиеся в 1908 году в газете “Руль”, а с 1910-го время от времени публиковавшиеся в журналах.

Впоследствии Пушкин и пушкинская эпоха станут для поэта предметом не только творческого диалога, но и ученых штудий. К этим штудиям он готовился смолоду. Брюсова, по словам Брониславы Рунт-Погореловой, Ходасевич поражал “своим изумительным знанием материалов о Пушкине, его переписке и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве и не доходило до широкой публики”¹⁷⁷. К этим же годам относятся воспоминания Мариэтты Шагинян – к ней и ее сестре Лине, жившим в Успенском переулке, Владислав Фелицианович часто заходил в гости вместе с Муни: “Он изумительно читал Пушкина; и чтение «Музы» с его голоса, буквально повторенное мною позднее, когда я «зачитала» ее Рахманинову и вслед за ним Николаю Метнеру, вошло в русскую музыкальную классику, отразившись в двух «Музах» этого композитора”¹⁷⁸.

“Рассеянный” образ жизни, который Ходасевич вел в эти годы, казалось бы, не соответствует этому гармоническому идеалу. Но не так ли, однако, жил сам Пушкин примерно в этом же возрасте, после Лицея? Только в его жизни, в дополнение к картам, пьянству, безденежью, балам и пылким разговорам были еще театральные кулисы, политическая фронда (Ходасевич в эти годы ни театром, ни политикой не интересуется) и нестрогие дамы полусвета. А летом, в Михайловском, наступало время спокойного и трезвого труда¹⁷⁹. Для Ходасевича Михайловским было Старое Гиреево, где он жил летом на даче у брата Виктора (родители проводили лето по соседству, в Новогирееве).

В Гирееве, кроме стихов, Ходасевич написал в 1908 году статью “Графиня Е. П. Ростопчина”, которая – в переработанном виде – увидела свет лишь восемь лет спустя, в 1916-м, в журнале “Русская мысль”. Что привлекло его в обыденной судьбе и не слишком значительных стихах второстепенной поэтессы середины XIX века, знакомицы Пушкина и приятельницы Лермонтова?

В стихах ее довольно найдется формальных промахов, плохих рифм, образов, устарелых даже в ее время. Ее поэзия не блистательна, не мудра и –

¹⁷⁶ Ахматова А. А. *Листки из дневника* // Собрание сочинений: В 6 т. М., 2001. Т. 5. С. 131.

¹⁷⁷ Погорелова Б. *Валерий Брюсов и его окружение* // Воспоминания о Серебряном веке. С. 38.

¹⁷⁸ Шагинян М. *Собрание сочинений*: В 9 т. Т. 1. С. 251.

¹⁷⁹ И именно там и тогда написано стихотворение “Домовому” (1819), откуда Ходасевичем взято название книги “Счастливый домик” – книги, в которую вошли в том числе его стихи конца 1900-х годов.

не глубока. Это не пышная ода, не задумчивая элегия. Это – романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного.

Красивость, слегка банальная, – один из необходимых элементов романса. Пафос его не велик. Но тот, кто поет романс, влагает в его нехитрое содержание всю слегка обыденную драму души страдающей, хоть и простой.

В наши дни, напряженные, нарочито сложные, духовно живущие не по средствам, есть особая радость в том, чтобы заглянуть в такую душу, полюбить ее чувства, простые и древние, как земля, которой вращенье, очарованье и власть вечно священные и – вечно банальны. Ах, как стары и дряхлы те, кому кажутся устарелыми зеленые весны, шелк соловья и лунная ночь!¹⁸⁰

Любование “изысканной банальностью”, старинным высоким простодушием, противопоставленным претенциозному манерничанью “девиц в платьях”, мечта о волшебном-буколическом “ситцевом царстве” – все это вполне соответствовало тенденциям этих лет. Но у Ходасевича это лишь один из полюсов сознания и творчества. Второй – это, напротив, упоение собственными одиночеством, безлюбием, обреченностью и связанной с ними свободой. С ностальгией припоминаемые былые “лирические речи”, “радости любви простой” и нынешнее “уединенное презренье”, родственное вдохновению, которое зовется “святыней”, сталкиваются в одном стихотворении. И это лишь ранняя, несколько наивная интерпретация той внутренней раздвоенности между “человеческим” в себе (мягким, чуть-чуть инфантильным, не свободным от сентиментальности) и высоким, вечным, космическим, требовавшим отречения и беспощадности. Где-то на сломе этих двух “я” рождалось знаменитое остроумие Ходасевича, в их единстве – его лирика.

Этот пафос гибельной избранности кажется ницшеанским, но в том преломлении, которое характерно для Ходасевича, он старше Ницше. Можно вспомнить о “русском байронизме”, под знаком которого прошла юность Пушкина и Лермонтова.

Впрочем, если говорить о непосредственных предшественниках Ходасевича-поэта в первой половине XIX века, то это, конечно, в первую очередь Евгений Баратынский. Переклички с ним уже на рубеже 1910-х годов многочисленны и явственны.

Вот одно из вершинных стихотворений позднего Баратынского:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,

¹⁸⁰ Ходасевич В. Графиня Е. П. Ростопчина. Ее жизнь и лирика // СС-4. Т. 2. С. 38.

Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

А вот Ходасевич – “Душа”, стихи 1908 года:

О, жизнь моя! За ночью – ночь. И ты, душа, не внемлешь миру.
Усталая! К чему влачить усталую свою порфиру?

Что жизнь? Театр, игра страстей, бряцанье шпаг на перекрестках,
Миганье ламп, игра теней, игра огней на тусклых блестках.

К чему рукоплескать шутам? Живи на берегу угрюмом.
Там, раковины приложив к ушам, внемли плененным шумам –

Проникни в отдаленный мир: глухой старик ворчит сердито,
Ладья скрипит, шуршит весло, да вопли – с берегов Коцита.

Стихотворение Ходасевича замечательно (оно выше всего, написанного им прежде, кроме “В моей стране”), но при этом переключка с Баратынским очевидна: Ходасевич пишет как будто по канве своего предшественника. Если у Баратынского внешний мир ограничен, тесен, но подлинен, а “возвратные сновидения” – это (вполне возможно) образы этого же бедного мира, по второму и третьему разу являющиеся к уже изведавшей их душе, то Ходасевич переосмысляет расхожую фразу “мир – театр, люди – актеры”, уличая внешние страсти в поддельности. Душе стоит слушать только скудные, но настоящие звуки отдаленного мира, мира между жизнью и смертью: шуршание весла, скрип ладьи, ворчание глухого...

Можно воспринимать это как своего рода манифест. Как бы ни было бедно это настоящее, это инобытие, поэт не перестает быть наследником и двойником Орфея. Но его участь одновременно и величественна, и жалка. Он – бедный Орфей.

...Еще ручьи лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.

И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.

Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?

Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стенаний
На берега земных веселых рек!..

Эти стихи написаны в начале 1910 года. Спустя неполных два года акмеисты противопоставят символистскому образу поэта-мага – поэта-мастера. Ходасевич не принял этой замены. Для него поэт остается магом, пророком. Но беда не только в том, что мир, из которого пророк несет вести, безотраден, – а в том, что мир, в который он несет весть, имеет право на свою невинную и ограниченную гармоничность. Отвергая Орфея, защищая себя от его “пустых очарований”, он в своем праве.

4 Тем временем в жизни Ходасевича появляются новые люди – и возвращаются прежние знакомые.

По-новому расцветает дружба с Андреем Белым. На смену пьяному бреду петербургской поездки осенью 1907 года приходит ясный интеллектуальный союз. Если с Муні Владислав проводит взвинченные вечера, то с Белым – трезвые дни.

Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен <...> Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось – читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был, в общем, упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы “Серебряного Голубя”. То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо¹⁸¹.

Ходасевичу едва ли не первому Белый изложил свою новую, революционную по тем временам теорию русского стиха.

Любовь к Белому и восхищение им не исключали некоторой иронии в его адрес – даже в эти годы. Еще в 1907-м Ходасевич написал остроумную пародию на “Симфонию”, но без одобрения Бориса Николаевича (как он называл друга) опубликовать ее не стал. Белый и в эти годы побаивался злого языка своего младшего друга, но Ходасевич до поры сдерживал себя. Сам Борис Николаевич Бугаев соприкасался с ним в основном ясной, солнечной стороной своего сознания, хотя в его жизни было в те годы разное: бесконечные довыяснения отношений с Блоками, ссоры с “Золотым руном”, публичные скандалы, та же “Штемпелеванная культура”, с Ходасевичем. Но с иным житейским обликом Андрея Белого Ходасевичу еще придется столкнуться.

Другой человек из недавнего прошлого поэта, Александр Брюсов, несколько лет провел в странствиях. Как иронизировал его старший брат, в книге Alexander’a “По бездорожью” (1907) чуть ли не каждое стихотворение “помечено другою частью света”. В ходе этих скитаний он время от времени посылал тогда еще богатому Ходасевичу открытки с просьбой прислать денег (видимо, ему легче было обратиться с этой просьбой к гимназическому другу, а не к старшему брату). Побывав в Египте, Америке, Австралии, он снова объявился в Москве.

В 1909 году на одном из поэтических вечеров на квартире Петра Зайцева Александр Яковлевич появился со спутницей – худенькой темноглазой девушкой. Брюсов представлял ее как свою жену. Ее звали Анна Ивановна, близкие знакомые называли ее Нюра, ей было двадцать два или двадцать три года, она приходилась сестрой Георгию Чулкову, чьи стихи Ходасевич

¹⁸¹ Ходасевич В. *Андрей Белый*. С. 52.

недавно так разобрал. Несмотря на свою молодость, Анна Ивановна уже испытала в жизни многое: побывала замужем за журналистом Евгением Гренционом (чью фамилию продолжала носить), родила сына Эдгара (Гарика, или Гаррика, как звали его дома), рассталась с мужем, некоторое время жила с Борисом Диатроптовым (“который не был ни поэтом, ни писателем, но был умным человеком, большой культуры и тонкой души”¹⁸², и тоже дружил с Ходасевичем), ушла от него к Александру Брюсову... По-видимому, официальный развод с Гренционом последовал не сразу: во всяком случае, брак Анны с Брюсовым так и остался невенчанным.

Анне Ивановне очень понравились стихи Ходасевича (раньше она их не знала). Вскоре дружеское общение Брюсова-младшего и Ходасевича возобновилось. По ее словам, “Владя стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А. Б. какой-то испанский роман, писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии и тому подобные вещи”¹⁸³.

Нюра быстро стала ближайшим другом Ходасевича – гораздо ближе, чем Александр. Она была в числе первых читателей его стихов, единственным (наряду с Муни) человеком, с которым он мог поделиться сокровенными личными переживаниями. Тем более что как раз с Муни в те годы не всем можно было поделиться: духовные и личные метания двух друзей опасно совпадали по фазе, и в метаниях этих была замешана одна и та же женщина.

Что же происходило с Самуилом Викторовичем Киссиным в 1908–1909 годах? Об этом известно от Ходасевича, а он многого недоговаривает.

После одной тяжелой любовной истории... Муни сам вздумал довыплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, – больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни “по причинам полицейского, паспортного порядка”.

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. <...>

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши “смыслы” становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. <...> И вот однажды я оборвал все это – довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью – Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы.) Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу “Счастливый Домик” под заглавием “Поэту”. Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось

¹⁸² Ходасевич А. И. *Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче*. С. 409.

¹⁸³ Там же. С. 394.

одно – исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся “в себя”, хоть не сразу¹⁸⁴.

В стихах Макшеевой, стилизованных, как многое у тогдашнего Ходасевича, ситуация, породившая “раздвоение” личности Киссина, освобождена от всякого драматизма:

Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!

Ты кличешь смерть – а мне смешно и нежно:
Как мил изменницей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет...

Наверное, так все и было бы, если бы за “беклемишевским” опытом Муни в самом деле стояла только неразделенная любовь. Но причины были глубже: ощущая свою “недовоплощенность”, друг Ходасевича мечтал – подобно измышленному Достоевским дьяволу – о безвозвратном превращении “хоть в семипудовую купчиху”. Не исключено, что в случае Муни за этой игрой стояло и тайное желание уйти от своего еврейства (в реальной жизни всякие попытки такого ухода были для Муни табуированы – хотя бы из-за привязанности к родителям).

Так или иначе, единственный биограф Муни, И. Андреева, убеждена: женщина, увлечение которой толкнуло его на “беклемишевский” эксперимент, – это Евгения Владимировна Муратова, урожденная Пагануцци.

Прадед Евгении Владимировны, итальянский архитектор, был приглашен в Россию при Николае I, но по пути стал жертвой разбойников. Император, в компенсацию гибели супруга, даровал его вдове русское дворянство и поместья. В 1905 году двадцатилетняя Евгения вышла замуж за Павла (Патю) Муратова – журналиста, художественного критика и искусствоведа, хранителя Отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея¹⁸⁵.

Позднее, уже в советское время, Евгения Муратова несколько подкорректировала свою биографию, добавив туда Высшие женские курсы и “забыв” про занятия танцами. Неудивительно: в это время Муратова служила в Наркомфине, а потом в издательстве “Перевал”. Но пятнадцатью годами раньше Пагануцци была прилежной ученицей студии балерин-босоножек, последовательниц Айседоры Дункан, созданной в Москве Элли (Еленой Ивановной) Рабенек. Ходасевич, кстати, был близко знаком по меньшей мере еще с одной студисткой Рабенек –

¹⁸⁴ Ходасевич В. *Муни*. С. 76–77.

¹⁸⁵ Будучи близким другом Бориса Зайцева, Муратов с 1906 года активно участвовал в культурной жизни Москвы, много писал в “Перевале”, входил в редакцию “Литературно-художественной недели”. В 1908-м Муратов впервые посетил Италию и влюбился в эту страну. Его “Образы Италии” (1911–1912) стали важным культурным событием: это было не просто новое открытие ренессансной культуры человеком эпохи модернизма, начинавшим со статей про Сезанна, Мане, с “Мира искусства”; книга Муратова – образец того благородно-уравновешенного мирозерцания, которое в 1910-е годы пришло на смену расхлябанной “гражданственности” и декадентской экзальтации и могло стать – но, увы, не стало – основой для гармоничного развития страны. Муратов был замечательным специалистом и по древнерусской иконописи. Кроме того, он писал стилизованные новеллы и пьесы (есть у него и роман – “Эгерия”), политические статьи и даже работы по военной теории (в 1904–1905 годах он проходил действительную армейскую службу, а в дни Первой мировой был офицером-артиллеристом). В памяти современников он остался как законченный пример “русского европейца”, идеалистически настроенного, но не лишённого практической жилки, и притом наделенного безупречным вкусом. Жизнь его была довольно богата событиями, и ему еще не раз приходилось пересекаться с Ходасевичем – и в Москве в дни “военного коммунизма”, и позднее в эмиграции. Евгения Пагануцци, как будто сошедшая с полотна художника эпохи Кватроченто, своей внешностью и грацией вполне соответствовала идеалам Муратова. Но брак их – в легкомысленно-богемной московской обстановке конца 1900-х – оказался непрочным.

Татьяной Саввинской; она упоминается в автобиографической хронике и мемуарах А. И. Ходасевич – видимо, Татьяна из “донжуанского списка” соответствует именно ей.

В Муратову влюблялись многие. Муни эта неудачная влюбленность в итоге побудила решительно изменить жизнь. “«Беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время”¹⁸⁶, – кратко пишет Ходасевич, но о чем он умалчивает, понять нетрудно. Чтобы забыть о Муратовой, Муни (возможно, еще в “беклемишевской” роли) в конце мая 1909 года женился на двадцатидвухлетней Лидии Брюсовой, младшей сестре Валерия и Александра Яковлевичей. Поступок этот был связан, между прочим, с преодолением препятствий: Беклемишев-то, вероятно, был православным, а вот Самуил Викторович Киссин принадлежал к иудейскому вероисповеданию. В Российской империи брак между православной и иудеем был невозможен, переход из православия в иудаизм тоже, а Киссин креститься не хотел. Оставалась одна возможность: переход невесты в лютеранство (что до 1905 года тоже не допускалось – но в начале XX века российские законы стали либеральнее). Лютеранская церковь разрешает венчание с иудеем или мусульманином. По этому пути и пошли Самуил Викторович и Лидия Яковлевна.

Можно представить, какие чувства вызвало это в московской купеческой семье Брюсовых, пусть и далекой от патриархальности. Ходасевич язвительно вспоминает про антисемитизм Валерия Яковлевича, который “не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога”¹⁸⁷. Но, судя по всему, гораздо сильнее, чем предубеждения окружающих, внешне вполне благополучный брак Киссиных омрачало то, что Самуил Викторович никак не мог забыть Евгению Муратову. Впрочем, если Муни хотел “воплотиться”, обрести бытовым обликом, можно сказать, ему это удалось. Только вот принесло ли это ему счастье?

Весной 1910 года с Муратовой познакомился Ходасевич. Почти сразу же начался их роман. Евгения увидела Владислава таким: “Довольно высокого роста, очень тонкий, даже худой. Смугло-зеленоватая кожа лица, блестящие черные волосы, гладко зачесанные. Элегантный, изящный, как-то все хорошо на нем сидит. В пенсне. Когда он их снимает, то глаза у него детские и какие-то туманные. (Я говорила: как у новорожденного котенка, – он смеялся.)”¹⁸⁸ Любопытно, что все прочие в это время описывают Ходасевича низкорослым.

Воспоминания Муратовой о Ходасевиче (две страницы) – текст довольно сбивчивый, сумбурный. В основном это описания их совместных блужданий по Москве. Влюбленные гуляли по ночным бульварам, заходили в кафе, ресторанчики – даже в извозчичьи чайные. Слушали ресторанных артистов. Муратова утверждает, что однажды они видели Вертинского, который “читал и пел свои стихи”, и что Ходасевичу его выступление понравилось (но это сомнительно: в 1910 будущий знаменитый шансонье только что приехал в Москву из Киева и лишь два года спустя начал выступать публично, на сцене Театра миниатюр). Иногда ездили в Петровский парк, в Сокольники. Случалось, Евгения сопровождала своего спутника в Литературно-художественный кружок и присутствовала при его картежной игре. Любовь к “острым ощущениям” – это было ей понятно. Остроумная, очаровательная, живая “царевна” (как назы-

¹⁸⁶ Ходасевич В. *Муни*. С. 77.

¹⁸⁷ Исследователи не соглашались с этой оценкой, указывая, что Валерий Брюсов никогда своего антисемитизма публично не проявлял. В самом деле, он покровительствовал молодым поэтам еврейского происхождения (Бенедикту Лившицу, Илье Эренбургу), переводил Хаима Нахмана Бялика, написал посредственные, но благородные стихи на осуждение Дрейфуса и несколько более искреннее и прочувствованное стихотворение “Еврейские девушки”. Но при этом он вполне мог быть сторонником “сегрегации” в семейно-брачных делах. Вообще, ни в одном вопросе публичное и приватное поведение русского интеллигента начала XX века так не разнились, как в еврейском. Самый яркий пример – Александр Куприн, из-под пера которого вышли и “Гамбринус”, и проникнутое почти погромными чувствами письмо Ф. Д. Батюшкову. Об интенсивности антисемитских настроений Александра Блока стало известно лишь после публикации его личного дневника.

¹⁸⁸ Цит. по: Андреева И. *Неуловимое создание: [О Е. В. Муратовой]: Встречи. Воспоминания. Письма*. М., 2000. С. 121.

вал ее Ходасевич в стихах) была из тех, кто дышал воздухом “веселой легкости бездумного житья” предвоенных лет. Такой он ее и описал:

Царевна ходит в красном кумаче,
Румянит губы ярко и задорно,
И от виска на поднятом плече
Ложится бант из ленты черной.

Царевна душится изнеженно и пряно
И любит смех и шумный балаган, –
Но что же делать, если сердце пьяно
От поцелуев и румян?

Переписка Ходасевича и Муратовой поразительно не похожа на переписку с Петровской – и не только потому, что с Ниной они были приятелями, а не любовниками. Быстрый, лихорадочный, но зоркий взгляд на мир и вещи, житейская наблюдательность и выразительный язык Евгении Владимировны (всего этого у нее несравнимо больше, чем у писательницы Петровской) – это было Ходасевичу близко и созвучно. “В тутошней стране даже говорить не умеют: вместо «грибы» говорят «рыба» и вместо «рыба» «грибы», и лица у финнов безразличные – ни глаз, ни носа, ни рта, а нечто среднее”¹⁸⁹ (письмо из Териоки от 13 августа 1910 года). Но Владислав Фелицианович неслучайно жаловался Анне Чулковой на “не вполне серьезное отношение к его любви” со стороны Евгении. Отзвуки этих жалоб есть и в его немного иронических строках:

...Хорошо, что в этом мире
Есть еще причуды сердца,
Что царевна, хоть не любит,
Позволяет прямо в губы
Целовать. <...>

Хорошо с улыбкой думать,
Что царевна (хоть не любит!)
Не забудет ночи лунной,
Ни меня, ни поцелуев –
Никогда!

Сам он был влюблен страстно и горячо:

Я читаю, перевожу, курю папиросы (это самое прекрасное из всего) – и сквозь все счастливая какая-то мысль, даже не мысль, а знание о тебе: что где-то есть ты. Это было бы почти счастьем, если бы не необходимость реального ощущения: видеть и целовать. Теперь еще больше, чем прежде, завидую твоей радости – быть всегда с собой. Милая, закрой глаза и поцелуй свою руку много раз (письмо от 26 июля 1910 года)¹⁹⁰.

В каком-то смысле эта любовь была более естественной и ясной, чем юношеская – к Марине Рындиной. Но как и у той, у этой любви не было будущего.

¹⁸⁹ Цит. по: Андреева И. *Неуловимое создание*. С. 160.

¹⁹⁰ Там же. С. 159.

В это время Евгения еще была замужем за Павлом Муратовым. Муж, “безвозвратно-домашний и преданный”¹⁹¹, вызывал у нее жалость, которая, однако, не могла перевесить “причуды сердца”, легкомыслие, жажду новых впечатлений. Сам же Муратов, как истый джентльмен, не позволял себе проявлять ревность и был корректен с поклонниками жены. Однако и в его жизни со временем появились новые увлечения, а отношения с Евгенией стали чисто дружескими. Муратовы подолгу жили в Петербурге и в Финляндии, Владислав проводил летние месяцы в Гиреево – разлуки лишь обостряли и укрепляли влюбленность. Развязка наступила только в 1911 году – и за многие сотни верст от Москвы.

¹⁹¹ Там же. С. 160.

5

Впоследствии, в послереволюционное время, в дни еще “полуэмигрантских” скитаний по Европе, Ходасевич с ностальгией вспоминал “былые поездки за границу”. Но на самом деле такая поездка была лишь однажды – летом 1911 года.

Беспорядочный образ жизни, который вел Ходасевич в течение трех лет, не мог не сказаться на его и так уже некрепком здоровье. В конце 1910 года у него обнаружили туберкулез. К счастью, Владислав Фелицианович только что получил первые крупные гонорары из “Полюзы”, так что болезнь стала поводом для путешествия в Италию.

Как раз так получилось, что Евгения Муратова в эти же месяцы отправилась на гастроли с “труппой босоножек” Элли Рабенек. Влюбленные договорились о встрече в Венеции.

2 июня 1911 года Ходасевич садится в поезд на Белорусско-Балтийском вокзале.

Путь из Москвы в Европу проходил через западные окраины России. Впервые Владислав увидел мир, в котором жили его предки – польские, литовские и еврейские, услышал на станциях язык своих родителей.

На второй день поездки он пишет Муни:

На границе польский язык (там обращаются к пассажирам сперва по-польски, а потом уже по-немецки) – меня избавил от труда вынимать ключи из кармана: совсем не смотрели. Это, впрочем, меня огорчило: зачем же я не взял папирос? Если бы знал, что за мерзость немецкие или австрийские (черт их дери!) папиросы!! Я тебе привезу в подарок...

В Ивангороде поезд стоял 20 минут, и я свел знакомство с человеком, у которого были настоящие рыжие пейсы. Милый, но скучный: примирился со всем. Ну, вот. А в Польше на могилах ставят кресты, на которых можно распинать великанов, я не преувеличиваю. Такие же кресты – на перекрестках. Должно быть, нет страны печальнее, несмотря на белые домики и необычайно кудрявые деревья¹⁹².

Дальше – Вена:

В Вене все толстые, и мне слегка стыдно. Часов в 9 встретил я похороны... хоронят здесь рысью. Ящик с покойником прыгает, венки прыгают, – все толстое, пружинистое – и прыгает¹⁹³.

И вот – Италия. Но прежде чем приводить цитаты из итальянских писем и статей Ходасевича 1911 года, вспомним одно его гораздо более позднее стихотворение – “Брента, рыжая речонка...” (1920). Воспоминания о реке, которая упоминается в “Евгении Онегине” и которая для русских романтиков была символом *la bella Italia*, вдохновляет его на такие строки:

...Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

¹⁹² Киссин С. *Легкое бремя*. С. 222.

¹⁹³ Киссин С. *Легкое бремя*. С. 222.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.

Может сложиться впечатление, что Ходасевич ехал в Италию, охваченный романтическим эстетизмом, а столкнулся с “житейской прозой”. Но вот его письмо Муни от 18 июня:

Италия – страна божественная. Только всё – “совсем не так”. О Ренессансе хлопочут здесь одни русские. Здешние знают, что это все было, прошло, изжито, и ладно. Видишь ли: одурелому парижанину русский стиль щекочет ноздри, но мы ходим в шляпах, а не в мурмолах, Василия Блаженного посещаем вовсе не каждый день, и даже новгородский предводитель дворянства, с которым я очень знаком, не плачет о покорении Новгорода. Здесь в каждом городе есть памятник Гарибальди и *via Garibaldi*¹⁹⁴. Этим все сказано. Ежели бы российские италиелюбы были поумнее, они бы из этого кое-что смекнули.

Итальянцы нынешние не хуже своих предков – или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай – все выйдет ужасно красиво. Были деньги – строили дворцы, нет денег – взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь – Боже ты мой, как прекрасно! В Генуе новый пассаж, весь из гранита. Ничего в нем нет замечательного, – а вот ты попробуй-ка из гранита сделать так, чтобы некрасиво было: ведь это уже надо нарочно стараться. А у нас – ежели ты уж очень богат, ну, тогда можешь пустить мраморную облицовочку, которую неизбежно надо полировать (иначе она безобразна), – но из нее ничего, кроме модерничка, не смастеришь.

Здесь нет никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь – жизнь, быт – и церковь. Царица-Венеция! *Genova la superba*!¹⁹⁵ Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не “творят”, а “делают”. Ах, российские идиоты, ах, художественные вы критики! Олухи царя небесного! Венецианки поголовно все ходят в черных шалях без всяких украшений, с широкой черной бахромой, и ничуть в них не драпируются, потому что некогда. Красиво – изумительно. Это что же, Джотто какой-нибудь выдумал?¹⁹⁶

Вот что отвечает на это скептический Самуил Киссин (письмо от 25 июня):

Ты знаешь, та Италия, о которой ты пишешь, открыта Немировичем-Данченко и П. П. Гнедичем? Это тоже старая Италия! Ну что ж. Ведь ты сам знал, знаешь и, сколько бы ни мистифицировал себя, будешь знать, что грязь на улицах столь же показательна, как и архитектура; что в Николаевскую эпоху фокус общества был вовсе не в Пушкине; что Россия того времени

¹⁹⁴ Улица Гарибальди (*ит.*)

¹⁹⁵ Великолепная Генуя (*ит.*).

¹⁹⁶ Цит. по: Андреева И. *Неуловимое создание*. С. 166–167.

едва ли была в 3 тысячи человек (может, и меньше, сколько подписчиков у Литературной Газеты?); что в Ассирии был тоже быт, а не одни Сарданапалы и отрубленные головы царей. И где это быт не главное?¹⁹⁷

В это время поездки в Италию и сочинение стихов, вдохновленных соответствующими культурными впечатлениями, в том числе живописью Ренессанса, были делом расхожим (вспомним знаменитый блоковский цикл 1909 года и гумилевский – 1912-го, а также более поздние, созданные по воспоминаниям стихи Кузмина). Прибавим сюда и уже упомянутые “Образы Италии” Муратова. Ходасевич, может быть, из чувства противоречия, с самого начала желал видеть и искать в Италии “другое”; можно предположить, что и его впечатление от Бренцы было “запрограммировано”. Интересно, что точно в таких же “прозаических” красках (“И с мутною водою Яузы сравню миродержавный Тибр”) описывает Италию никогда в ней не бывший Василий Комаровский в своем “путевом цикле”, написанном всецело по воображению.

Впрочем, сам Ходасевич не только в 1911 году, но и позднее создал несколько стихотворений, в большей мере вписывающихся в традиционный для русской поэзии (со времен Тютчева, Фета, Майкова) канон стихов о “цветущей Авзонии”, в которых даже “низменный” быт эстетизирован с оглядкой на ренессансную живопись:

Красный Марс восходит над агавой,
Но прекрасней светят нам они –
Генуи, в былые дни лукавой,
Мирные, торговые огни.

Меркнут гор прибрежные отроги,
Пахнет пылью, морем и вином.
Запоздалый ослик на дороге
Торопливо плещет бубенцом...

Ходасевич жил рядом с Генуей – в Нерви. Перед этим он побывал в Венеции, где в отеле “Leone Bianco” встретился с Муратовой. Евгения присоединилась к нему; их совместная жизнь в Нерви свелась к типичному курортному времяпрепровождению. Евгения подолгу купалась, Владислав в это время, не заходя в воду, пил пиво на пляже. Вечерами гуляли по Генуе, заходили в кабачки из самых непрезентабельных, не посещаемых туристами. Иногда карабкались на гору (“что очень нравится Жене и чего терпеть не могу я”, – прибавляет Ходасевич в письме к Муни). Некоторую пикантность ситуации придавал тот факт, что в это же самое время в Венеции с новой подругой находился Павел Муратов.

В конце июня Муратова уехала в Россию. На этом ее роман с Ходасевичем закончился, хотя они еще обменялись несколькими в меру нежными письмами. В начале июля Владислав Фелицианович направился во Флоренцию. Оттуда он 12 июля послал письмо Брюсовым – Александру Брюсову и Анне Чулковой, которые в тот момент тоже находились далеко от России – в Париже: “Если Нюра останется в Париже, Александр, приезжай за мной, вместе поедем в Рим. Ну-ка покажи прыть! А то приезжайте оба: возле Риальто есть чудесные кабачки, где можно играть в преферанс”¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Там же. С. 168.

¹⁹⁸ Цит. по: Андреева И. *Неуловимое создание*. С. 171.

Александр Яковлевич в Париже заскучал; пятью днями раньше он жаловался в письме Ходасевичу: “Никакой разницы с Москвой не замечаю – те же лица (Чулковы, Савиничи и пр. и пр.), вместо Грека – кафе Паскаль, вместо русского биллиарда – карамболь”¹⁹⁹.

Однако во Флоренцию ни он, ни его жена все же не поехали. Анна Ивановна находилась в Париже “по делу”: она “училась наводить красоту”, чтобы открыть в Москве собственный салон (или даже “Институт красоты”). Отлучаться она не могла и не хотела, хотя ее дружеские чувства к Ходасевичу, возможно, уже перерастали в нечто большее. Ласково осведомляясь об успехах Анны в искусстве косметики, Владислав прибавлял – “все мои цыпочки отныне принадлежат тебе”. С учетом событий, которые произойдут несколько месяцев спустя, эти слова приобретают другой – серьезный – смысл.

Пока что он, как и планировал, перебрался в Венецию, где находился его приятель, искусствовед и писатель Борис Грифцов. Их времяпрепровождение Ходасевич описывает в лихом и шутовском письме Чулковой от 20 июля: “Ухаживаем за экскурсантами напропалую. Установили правило: иначе как вдвоем на гондолах не ездить. Экскурсантки – рожи несосветимые, все какие-то пузатые, без каблучков и в плохих платьях. Степень их цивилизованности невелика: с употреблением мыла немного знакомы, но ногтей не чистят, а о пудре никогда не слышали. За все время было штуки четыре пригодных. Так мы их чуть не съели”²⁰⁰.

Раскованный тон итальянских писем Ходасевича хорошо показывает те непринужденные приятельские отношения, которые сложились у него с женой Александра Брюсова. Такие отношения иногда складываются между бывшими супругами или любовниками, но почти никогда не предшествуют любви. Во всяком случае, это утверждение кажется правильным для *той* эпохи. И однако, всегда случаются исключения.

Ходасевич собирался жить в Венеции, пока не кончатся деньги. Закончились они быстро, хотя Владислав Фелицианович не прекращал в Италии работать. Два “венецианских” эссе – “Ночной праздник” и “Город разлук” – были напечатаны в “Московской газете” уже после того, как Ходасевич покинул Италию – 16 августа и 23 сентября 1911 года. Первый из этих текстов перекликается с уже процитированным его письмом Муни:

Бродя по извилистым, тесным, в море спадающим улочкам одного городка Италии, понял я раз навсегда, что красота – несправедливый и милый дар неба, навеки данный этой стране. Ей не уйти, не укрыться от красоты, ни за какие грехи ее не лишиться.

Вот, по изломам и срывам прибрежной скалы, лепит она несуразные домики из грубого серого камня, а выходит прекрасно: прихотливо громоздятся крыши над крышами, выступают углы, вьются улочки, повисают мосты над ручьями, бегущими с гор. Выше, там, где кипарисы колоннадой обступили тесное кладбище, высится колокольня невидимой церкви. Еще выше – виноградник от оливы к оливе перекинул плавные свои гирлянды. Под вечер желтая звезда загорается над дальней густо-зеленой пальмой. Полуголые ребятишки копошатся в дорожной пыли, кричит запоздалый мул, влача громоздкую телегу на двух колесах. А там, внизу – темно-синей равниной простерлось море²⁰¹.

Дальше – сцена, которая могла бы стать сюжетом стихотворения Ходасевича: гроза мешает уродливо-“романтичному” катанию на гондолах обывателей-туристов, возвращая городу его подлинную красоту.

¹⁹⁹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 6.

²⁰⁰ Цит. по: Андреева И. *Неуловимое создание*. С. 172.

²⁰¹ Ходасевич В. *Ночной праздник (Письмо из Венеции)* // СС-8. Т. 2. С. 71.

Во втором очерке поэт позволяет себе более личную, интимную ноту, касается того, что занимало его мысли и сердце в те дни:

Хотел бы я посмотреть на того чудака, который первый пустил по свету сплетню, будто Венеция – прекрасный приют для влюбленных. Конечно, одно из двух: или он был наивен, ужасно наивен, до трогательности, до того, что уже невозможно на него сердиться, или же это был злой старикашка, завистливый и беззубый, решивший подставить петушью свою ножку всем, кто послушает коварного его совета.

Нигде так легко не расстаешься с надеждами и людьми, как в Венеции. Там одиночество не только наименее тягостно, но наиболее желанно. И вовсе не для того, чтобы сосредоточиться, уйти в себя, но напротив: чтобы забыть себя, потерять былое, сделаться одним из тех, кто часами сидит на набережной, глядя в туманную даль лагуны или на узкую башню San Giorgio.

Венеция – город разлук. <...>

Но трудно уехать отсюда домой, в Россию. Здесь научаешься любить камни, черную воду каналов, соленые испарения моря, рыжие занавески на окнах да людей, проходящих, как тени. <...>

Здесь хочется не любить и не хочется быть любимым. Венеция – город разлук²⁰².

В те же дни, видимо, написан и рассказ “Иоганн Вейсс и его подруга”, напечатанный в “Утре России” (13 декабря): трогательная, в андерсеновском духе, сказка о любви поэта-мечтателя и нарисованной женщины, танцовщицы с афиши. Танцовщица становится спутницей поэта, ибо кусок афиши, на котором изображен ее возлюбленный-апаш, оторвали. Но вот апаша водрузили на место – и счастье поэта закончилось. “Игрушечность”, в сущности, выдуманного счастья смягчает его потерю. Все заканчивается не отчаянием – всего лишь легкой поэтической грустью. Тем более что в жизни танцовщица ушла отнюдь не к грубому и жестокому апашу.

Любовную разлуку Ходасевич на сей раз пережил легче, чем в 1907–1908 годах. Может быть, потому что на вечный союз и надежды не было, а может, подействовала венецианская анестезия. И вероятно, она бы действовала и дальше, если бы не новое, неожиданное горе, поджидавшее поэта в России.

²⁰² Там же. С. 78–79.

6

За несколько дней до отъезда из Венеции в Москву (1 августа 1911 года) Владислав получил письмо от матери из Новогиреева: “У нас все по-старому, отец за пасьянсом, я хозяйничаю, стряпаю и даже купаюсь в Шереметевском пруду, от нас это далеко, но ничего, это мое единственное удовольствие”²⁰³.

Владислав и подумать не мог, что это – последнее письмо, написанное ему материнской рукой, и что жить Софье Яковлевне Ходасевич осталось всего полтора месяца.

Умерла она 20 сентября – и вот при каких обстоятельствах. Оставив мужа в Новогиреево (где старики жили и осенью, несмотря на прохладную – не выше 8 градусов по Цельсию – погоду, стоявшую в конце сентября), Софья Яковлевна отправилась в город, чтобы навестить заболевшую дочь Евгению.

Когда она ехала в извозничьей пролетке по Большому Спасскому переулку, “из ворот дома Шолохова выбежала, громко лая, чья-то собака. Лошадь испугалась и понесла. Удержать ее извозчик был не в силах. Во 2-м Знаменском переулке пролетка опрокинулась. Госпожа Ходасевич была выброшена на мостовую, причем со страшной силой ударилась головой о фонарный столб. Несчастную подняли с раздробленным черепом. Со слабыми признаками жизни ее отправили в приемный покой Сретенской части, где она через несколько минут скончалась”.

Так сообщала об ужасной смерти “матери известного присяжного поверенного” “Московская газета” за 21 сентября 1911 года. Через два дня последовало уточнение: “Не столько виновата собака, испугавшая лошадь извозчика, сколько промчавшийся мимо автомобиль” (вспомним несущий гибель и забвение автомобиль из “Тяжелой лиры” Ходасевича). Так или иначе, дочь Якова Брафмана, верную жену бездарного живописца, неудачливого фотографа и разорившегося купца, в газетном сообщении о ее смерти названного “учителем рисования”, мать шестерых детей, истовую католичку еврейского происхождения убил призрак нового века.

Эта внезапная смерть сама по себе была большим несчастьем. Но кроме того, она обострила то чувство тоски, покинутости, одиночества, которое уже стало для Ходасевича привычным и которое он привык заглушать ночными бдениями, карточной игрой, алкоголем.

Осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

– Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал²⁰⁴.

Вскоре, 24 ноября, от грудной жабы умирает Фелициан Иванович. Отец был уже, по меркам того времени, очень стар и давно болен, но трудно сказать, как бы могла отозваться его смерть на расстроенных нервах его младшего сына, если бы между двумя печальными событиями, во второй половине октября или в начале ноября, в его жизни не произошли перемены совсем неожиданные.

Вот два письма. Первое написано Владиславом Фелициановичем в день смерти отца и адресовано Нине Петровской:

²⁰³ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 1.

²⁰⁴ Ходасевич В. *Муни*. С. 78–79.

Однажды ночью, еще не зная Вашего адреса, написал я Вам большое письмо, да наутро перечел его – и не отправил: стыдно стало даже Вас. Уж очень было оно “настоящее”.

Прошло с тех пор полторы недели. Сегодня я в силах сообщить Вам лишь факты, о коих Вы, пожалуй, уже знаете. Ныне под кровом моим обитает еще одно существо человеческое. Если еще не знаете кто – дивитесь: Нюра. Внутреннюю мотивировку позвольте оставить до того дня, когда снова встретимся мы с Вами здесь, на этой земле, а не где-нибудь еще.

Милая Нина! Я – великий сплетник, но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторили их снова – и стало мне жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна быть добрая. Ну вот, со мной добры, очень просто добры и нежны, по-человечески, не по-декадентски. Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни²⁰⁵.

Это письмо, черновик которого был случайно обнаружен в книге, приобретенной в букинистическом магазине, возможно, тоже осталось неотправленным.

О том, как все выглядело “с другой стороны”, свидетельствует письмо Анны Чулковой Надежде Яковлевне, сестре бывшего мужа:

Дорогая Надя!

Спасибо тебе, родная, за письмо: было страшно немножко. Теперь уже лучше, есть еще страх, но уже за другое – за Гареньша.

Не умею я писать писем, а тебе особенно – ведь ты строгая. Но все-таки попытаюсь рассказать, как было. Помнишь, еще весной между мной и Сашей были недоразумения? Потом, за границей, я вдруг почувствовала себя большой. Большой и приехала в Москву. А Саша все продолжал быть маленьким. Да еще ему дали новую игрушку – военную службу. Вот он и ушел с нею куда-то далеко от меня. А я осталась одна. Правда, было утешение – моя дружба с Владей. Помнишь, весной я не знала, куда пойти с моим горем, к тебе или к Владе? Мы давно были очень дружны. День ото дня Саша все дальше уходил от меня, а дружба с Владей – крепла. А вот как пришла и когда пришла любовь – не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чем-то низком, и благодаря этому все гораздо проще и понятней. Наша старая дружба позволила нам узнать друг друга без прикрас, которыми всегда прикрываются влюбленные.

Все-таки перед уходом от Саши было у меня маленькое колебание: страшно, если Гарька будет голодать. Потом поняла, что гадко обманывать себя и Сашу даже из-за Гареньша.

Ведь мне еще только 25 лет! Неужели же я не найду возможности как-нибудь заработать деньги для Гарьки? Пока не кончу курсы, будет мне трудно. Гареньш сейчас у отца с Fräulein и чувствует себя хорошо. Я его почти каждый день вижу. Я сейчас живу в одной комнате с Владей и питаюсь ресторанной едой.

Мечтаю продать рояль и на эти деньги снять крошечную квартирку и купить кровать, стол и стулья и быть опять с Гареньшем.

На курсах много занятий.

²⁰⁵ Ходасевич В. Письмо Н. И. Петровской. 24 ноября 1911 // СС-4. Т. 4. С. 386.

Кроме того, помогаю Владе – выписываю ему стихи для какого-то сборника. Знаешь, даже согрешила сама: написала два стихотворения, конечно, очень нескладно. Еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье²⁰⁶.

Видимо, именно Анне Ивановне принадлежала инициатива в их сближении. Уйти от Александра Брюсова к Ходасевичу – это было с ее стороны поступком, требовавшим известной смелости. В конце концов, у Брюсовых были семейные капиталы, позволявшие более или менее безбедно жить всем детям Якова Кузьмича и их семьям. Но Анна Чулкова не просто рассчитывала только на себя. Она – полная противоположность Нине Петровской и подобным ей декаденткам – осваивала “земную” профессию и собиралась зарабатывать ею на жизнь. Тонкость и грация (но без “декадентщины”) сочетались у нее с добротой и душевным здоровьем.

Стихи Анны Чулковой-Гренцион-Ходасевич сохранились, по меньшей мере четыре из них: два были напечатаны в 1916 году в полтавском сборнике “Сад поэтов” рядом с Ахматовой, самим Ходасевичем и другими мэтрами, два других хранятся в ИМЛИ. Они не выказывают значительного таланта, но довольно грамотны. Вот одно из них:

Сижу на стареньком крылечке,
Смотрю на звезды в вышине,
К роптанью серебристой речки
Прислушиваюсь в полусне.

Вот загадала: упадет ли
Звезда направо за горой
Иль за причудливые ветлы,
Склонившиеся над водой.

Но тащится лениво время
И неподвижно звезды спят.
Какое тягостное бремя
Ты, неразгаданности яд!²⁰⁷

Стихи из “Сада поэтов”, написанные в период дружбы Анны Ивановны с молодыми футуристами, – дружбы, которую Владислав Фелицианович не особенно одобрял, но которой тактично не препятствовал, – несколько “левее” и расхлябаннее:

Сегодня небо и земля грязны,
Как бездарные души,
И те отношения, что завязаны,
Скучны и холодны, как мокрые крыши.

Хотелось бы света, хоть электричества,
Чтоб просветлела душа и комната...
Ах, милое маленькое Величество,
Не требуйте от меня экспромта²⁰⁸.

²⁰⁶ Цит. по: *Примечания* // СС-4. Т.4. С. 611–612.

²⁰⁷ ИМЛИ. Ф. 209. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1.

²⁰⁸ *Сад поэтов: Сборник стихов*. Полтава, 1916. С. 8.

На еще более поздних стихах, которые Анна Ивановна читала в 1920 другу семьи, Юлии Оболенской, уже лежал “сильный отпечаток Владислава”. Стихи свои Анна Ходасевич подписывала “Софья Бекетова” – быть может, в память реально существовавшей поэтессы Екатерины Бекетовой, тетки Блока. В частном собрании в Москве хранится, по сообщению Николая Богомолова²⁰⁹, маленький сборничек, состоящий из нескольких стихотворений “Елисаветы Макшеевой” – женского *alter ego* Ходасевича и Софьи Бекетовой.

Первые месяцы жизни с Ходасевичем были трудны – не только из-за безденежья и тесноты. Как вспоминала Анна Ивановна, “нервы Влади были в очень плохом состоянии, у него были бессонницы и большая возбужденность к ночи”. “Маленькая Хлоя”, как называл в стихах Ходасевич Анну, стала не только верным другом и помощницей, но и сиделкой в дни частых болезней своего мужа.

А для него это смиренное счастье было, конечно, и результатом известного самоограничения, отречения. Еще точнее – оно означало поражение в символистской погоне за “исключительным”. И – с другой стороны – непереносимость горькой свободы. С Анной Ходасевич позволил себе стать слабым, и неслучайно, говоря об этой любви, он полуиронически уподобляет себя бежавшему с поля битвы и описавшему свое бегство в оде “К Помпею Вару”, вольно переведенной в 1835 году Пушкиным, Горацию:

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,
Внимая брань друзей и персов дикий вой²¹⁰,
И все-таки горжусь: я, воин недостойный,
Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливцев! я сложил у двери потаенной
Доспехи тяжкие: копье, и щит, и меч.
У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,
Хламиду грубую бросаю с узких плеч.

Вот счастье: пить вино с подругой темноокой
И ночью, пробудясь, увидеть над собой
Глаза звериные с туманной поволокой,
Ревнивый слышать зов: ты мой? ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной
За Хлоей маленькой бродить по площадям,
Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,
Приди еще – я всё тебе отдам!

Другое дело, что и отречение, и горацианский идеал “меры и грани” – это был лишь период в жизни поэта. Но период важный.

²⁰⁹ Ходасевич В. *Стихотворения*. М.; Л., 1989. С. 420 (“Библиотека поэта. Большая серия”).

²¹⁰ Здесь уже вольная контаминация античных сюжетов: Гораций Флакк сражался отнюдь не с персами. Впрочем, у Горация мотив “брошенного щита” восходит к Архилоху (VII в. до н. э.). По предположению В. Зельченко, главный античный подтекст этого стихотворения иной: финал третьей песни “Илиады”, где Афродита похищает Париса во время поединка с Менелаем и приносит к Елене.

Глава пятая. В счастливом домике

1

В меблированных комнатах Владислав Фелицианович и Анна Ивановна прожили недолго. Вскоре им удалось снять квартиру – сперва однокомнатную (у родственников первой жены, Торлецких, на Знаменке), позже, вероятно, более просторную (на Пятницкой улице, 49). “Гареныш” теперь жил с матерью и отчимом.

Немедленно по истечении трехлетнего запрета, в 1913 году, Ходасевич обвенчался с Анной Гренцион – естественно, по православному обряду. К тому времени и ее брачные проблемы были разрешены. Что до Ходасевича, то священник, скорее всего, удовольствовался консисторским свидетельством о разводе и не стал требовать справки из костела.

В отношениях Владислава и Анны не было периода бурной страсти. Но зато их взаимная привязанность все росла, особенно в первые пять-шесть лет совместной жизни. “Я тебя очень люблю и всем говорю, что ты маленький Боженька”, – эти слова Анны Ивановны из письма мужу (от 5 мая 1916 года)²¹¹ достаточно выразительны. Так же – “боженька” – временами обращается и Ходасевич к жене. Почти ежедневные письма при любой разлуке, постоянные тревоги о здоровье друг друга, подробные рассказы о больших и малых делах, полное отсутствие какого-то напряжения в тоне, ревности, взаимных подозрений – все это создает впечатление чрезвычайно гармоничного брака. Таким он, видимо, и был до поры. И все же в известный момент ему суждено было распасться. Но это произошло спустя много лет, среди которых были трудные и страшные. Пока, накануне мировой войны, предсказать это было невозможно.

Молодая семья поначалу жила бедно – настолько, что это вызывало опасения у родственников, и их приходилось успокаивать. 5 июля 1913 года Ходасевич пишет Георгию Чулкову: “Вам наговорили о нас всяких ужасов, чего в действительности нет вовсе. Тут вышла трескучая путаница, ничего больше. Дела наши плохи, это правда, но как всегда. Ничего ужасного не случилось и не предвидится”²¹². Но скромный быт, денежные затруднения – все это как будто подчеркивало для Ходасевича подлинность обретенного им мира.

Символом этого мира стали мыши – существа, часто вызывающие презрение и брезгливость, но близкие человеку, его вещественному быту, его жилью во все века и во всех странах. Близкие – и при том независимые, неприрученные. Началось все случайно. Вот как вспоминает об этом Анна Ивановна:

Однажды, играя со своим сыном, я напевала детскую песенку, в которой были слова: “Пляшут мышки впятером за стеною весело”. Почему-то эта строчка понравилась Владе, и с тех пор он как-то очеловечил этих мышат. Часто заставлял меня повторять эту строчку, дав обе мои руки невидимым мышам, – как будто мы составляли хоровод. Я называлась “мышь-бараночник” – я очень любила баранки. В день нашей официальной свадьбы мы из свадебного пирога отрезали кусок и положили за буфет, желая угостить мышат – они съели. Впоследствии, в 1914 году, когда я заболела крупозным воспалением легких и была близка к смерти, Владя после кризиса преподнес мне шуточные стихи, которые, конечно, не вошли ни в один сборник его стихов. Вот они:

²¹¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 7.

²¹² РГБ. Оп. 371. К. 5. Ед. хр. 12. Л. 1.

Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало проворный,
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши, дышит.
Чтобы его <ободрить> и выразить другу внимание,
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,
Лапкой ее отстранил – и снова забылся дремотой...
Боже мой! Если уж даже баранка мышиною сердца
Больше не радует – значит, все наши заботы бессильны,
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может
Возле него полежать. Очнется – увидит. Уж то-то
Станет баранку свою катать по всему он подполью!
То-то возней громыхливой соседям наделает шуму!

В письмах Ходасевич часто ласково называет жену “мышью” (сам он фигурирует в качестве “медведя”). Эта трогательная игра на годы стала частью семейного ритуала, который в данном случае был неотделим от “серьезного” творчества поэта. То же стихотворение о Бараночнике примыкает к маленькому циклу “мышиных стихов”, написанных в 1913 году и вошедших во вторую книгу Ходасевича “Счастливый домик”. Первое – “Ворожба” – начинается так:

Догорел закат за речкой.
Загорелись три свечи.
Стань, подруженька, за печкой,
Трижды ножкой постучи.

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер коротать.
Только нужно жить потише,
Не шуметь и не роптать...

Второе посвящено конкретной мышке по имени Сырник. Анна Ивановна указывала, что под этим прозвищем скрывался реальный семейный знакомец. Но впоследствии Сырник стал частью шутовой семейной мифологии Ходасевичей. Вот каково это существо:

...Ты не разделяешь слишком пылких бредней,
Любишь только сыр, швейцарский и простой,
Редко ходишь дальше кладовой соседней,
Учишь жизни ясной, бедной и святой.

Заведу ли речь я о Любви, о Мире –
Ты свернешь искусно на любимый путь:
О делах подпольных, о насущном сыре, –
А в окно струится голубая ртуть...

Вряд ли можно представить себе более отчетливое отрицание тех экстремистских духовных идеалов, которыми жили друзья Ходасевича, да и сам он несколькими годами прежде. “Свято” теперь прозаичное, бедное, ежедневное. Какой бы ироничной ни была форма, в которой высказан этот взгляд на мир, его надо принять всерьез.

Впрочем, кроме Сырника и Бараночника существовали и другие мыши с собственными именами, перечисленные в шутовском “домашнем” стихотворении “Вечер” (1917): тут и “ученейший Книжник”, и “Свечник, поэт сладкогласный”, и Ветчинник, который “сидел в мышеловке за благо мышей”. Возможно, у каждого из них есть реальный прототип. Но это было уже чисто шуточное продолжение бытовой и литературной игры, которая в 1912–1914 годах занимала в жизни поэта важное место²¹³.

²¹³ Первое “мышье” стихотворение написано было поэтом еще в 1908 году, в самое трудное и отчаянное время. Но та “маленькая тихонькая мыш” – существо довольно свирепое и опасное в своей мнимой скромности и обаятельности:... Здравствуй, терпеливая моя, Здравствуй, неизменная любовь! Зубок изостранные края Радостному сердцу приготовь. В сердце поселяйся наконец, Тихонький, послушливый зверок! Сердцу истомленному венец – Бархатный, горяченький комок.

2

Пожалуй, в этом месте действительно стоит задуматься “о насущном сыре”: какими средствами в самом деле располагал в 1910-е годы Ходасевич и каковы были источники его дохода?

Редкий случай: мы можем точно ответить на этот вопрос. Поэт вел почти по-бухгалтерски скрупулезный учет приходов и расходов, и его записи (вложенные в тетрадь стихов) сохранились²¹⁴. За 1913 год семейный дебет Ходасевичей составил 3130 рублей (истрачены 3070). Сюда входят 250 рублей, подаренных Мишей, 70 рублей от Гренциона (копеечные, конечно, алименты), рублей 100 от сдачи какой-то комнаты, видимо, принадлежавшей Анне Ивановне. Остальное – заработок Владислава Фелициановича. В 1914 году доход составил 4173 рубля, прожито из них было 3888. В это время уже зарабатывала и Анна Ивановна.

Выходит, что в 1913–1914 годах Ходасевичи из разных источников получали в среднем 300 рублей в месяц. Для сравнения: учитель народной школы зарабатывал в месяц около 30 рублей, гимназический преподаватель со стажем – чуть больше 100, высококвалифицированный рабочий-металлист – около 70. Родители Даниила Хармса, Иван Павлович и Надежда Ивановна Ювачевы, в 1911 году зарабатывали вдвоем (после вычетов в пенсионную кассу) 163 рубля в месяц; правда, у них была казенная квартира (что позволяло экономить рублей 50 ежемесячно), но в семье было двое детей, а не один, как у Ходасевичей. Таким образом, по крайней мере начиная с середины 1913 года семья Владислава Фелициановича жила вполне по стандартам московского среднего класса, что непременно подразумевало наличие кухарки и гувернантки и, разумеется, не однокомнатной квартиры. Конечно, о доходах Валерия Брюсова или собственных братьев-адвокатов Ходасевич мог только мечтать, но среди литераторов, живших гонорами, он был отнюдь не самым бедным. Другое дело, что материальное положение его не было стабильным. Пока была работа, на все необходимое хватало. Долги, взятые прежде, тщательно фиксировались и платились, а в неоплатные долги Ходасевич, в отличие от Пушкина, не залезал. Но сбережений сделать не удавалось, и при непредусмотренных тратах или при невозможности работать в прежнем темпе приходилось обращаться за помощью к родственникам.

А работал Владислав Фелицианович очень много. Статьи 1912–1916 годов составляют в собрании его сочинений 170 страниц – больше 10 печатных листов. Объем переведенной в эти годы прозы в несколько раз больше. Труды переводчика сопровождались специфическими коллизиями. Некоторые из них можно восстановить по письмам.

Так, весной 1912 года Ходасевич задумал “изменить” “Полезе” и предложить свои услуги более солидному издателю, Константину Федоровичу Некрасову, племяннику знаменитого поэта, жившему попеременно в Москве и Ярославле. С Некрасовым был связан Муратов, который, видимо, и рекомендовал ему Ходасевича как переводчика польской литературы. 12 марта Владислав Фелицианович писал издателю:

Позвольте обратиться к Вам с предложением издать мой перевод исторической повести Красинского “Агай-хан”. Имя и значение Красинского в истории польской литературы Вам, конечно, известно, но об “Агай-хан” позвольте сказать несколько слов.

Повесть на русский язык ни разу еще не была переведена. Между тем, это одно из лучших созданий Красинского. Издав ее, Вы ознакомите русскую публику с произведением поистине прекрасным.

Весьма ценя издательство Ваше как предприятие культурное, я вместе с тем очень помню, что публика наша не слишком охотно покупает классиков –

²¹⁴ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 114.

и понимаю, что для издателя, каков бы он ни был, издание всякой хорошей книги представляет известную материальную опасность, известный риск. Но я совершенно уверен, что “Агай-хан” у Вас не залежится: дело в том, что он сейчас ко времени, – к юбилею смутного времени и 300-летию дома Романовых. Повесть начинается с момента убийства Тушинского вора. Ее главные действующие лица – Марина Мнишек, Заруцкий и молодой татарский князек Агай-хан, влюбленный в Марину.

В повести шесть (приблизительно) сорокатысячных листов, т. е. листов 8–9 печатных²¹⁵.

Некрасов ответил весьма любезно:

Мне было очень интересно получить Ваше предложение. Ваши переводы я немного знаю, о Вас же слышал от П. П. Муратова <...>. Я очень охотно издал бы в Вашем переводе “Агай-хана”, меня смущает только то же обстоятельство, что и Вас: русская публика не слишком охотно покупает классиков; думаю, однако, что не будет большого риска выпустить 2000 экземпляров <...>. Я мечтал когда-то издать и Красинского, и Словацкого целиком; не отказался от этой мысли теперь, а только отложил ее²¹⁶.

Обрадованный Ходасевич ухватился за эту вскользь брошенную фразу:

Что сказали бы Вы, если б я попытался до некоторой степени вернуть Вас к первоначальным намерениям и предложил бы издать не полное собрание сочинений Красинского, а лишь законченные его вещи, отбросив фрагменты, отрывки и прочее? Думаю, что такое издание явилось бы настоящим вкладом в переводную нашу литературу и в качестве такового не было бы даже рискованным в материальном отношении. Довольно уж Пшибышевских да Тетмайеров! <...>

За свою работу, весьма трудную, ибо Кр<асинский> не только классик, что обязывает само по себе, но и писатель с головокружительным синтаксисом, – попрошу я по тридцати рублей с листа в 40 000 букв. Это тот минимум, который получаю я в десятикопеечных книжечках “Полезы” за Реймонта и прочие пустяки. Итого – рублей по 400 за том²¹⁷.

Это написано 14 апреля. 20 апреля Некрасов отвечает согласием: “Ваша мысль вернуться к мысли издать Красинского целиком мне очень нравится; одно тревожит меня: не зарваться бы! Не набрать бы слишком много книг! Это единственное возражение. Его, однако, можно устранить, если оттянуть срок издания, т. е. выпуска, что вполне сходится с Вашими планами”²¹⁸.

Казалось бы, решено. Некрасов согласился даже на то, что Ходасевич заново переведет “Небожественную комедию”: с переведшим ее прежде Курсинским у Владислава Фелициановича были напряженные отношения, и он опасался, что договориться о сотрудничестве не удастся – “да и не хотелось бы ни с кем делить будущих «лавров»”²¹⁹. 24 мая Ходасевич сообщил Некрасову, что “кончил все «пользинские» заказы и неделю тому назад засел за Красин-

²¹⁵ Ходасевич В. Ф. *Письма К. Ф. Некрасову* / Публ., вступ. ст. и примеч. И. Вагановой // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1994. Вып. V. С. 459.

²¹⁶ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 1.

²¹⁷ Ходасевич В. Ф. *Письма К. Ф. Некрасову*. С. 459–460.

²¹⁸ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 2.

²¹⁹ Ходасевич В. Ф. *Письма К. Ф. Некрасову*. С. 461.

ского”²²⁰. Дело было только за вступительной статьей профессора Ф. Е. Корша, но и она при-
спела.

²²⁰ Там же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.